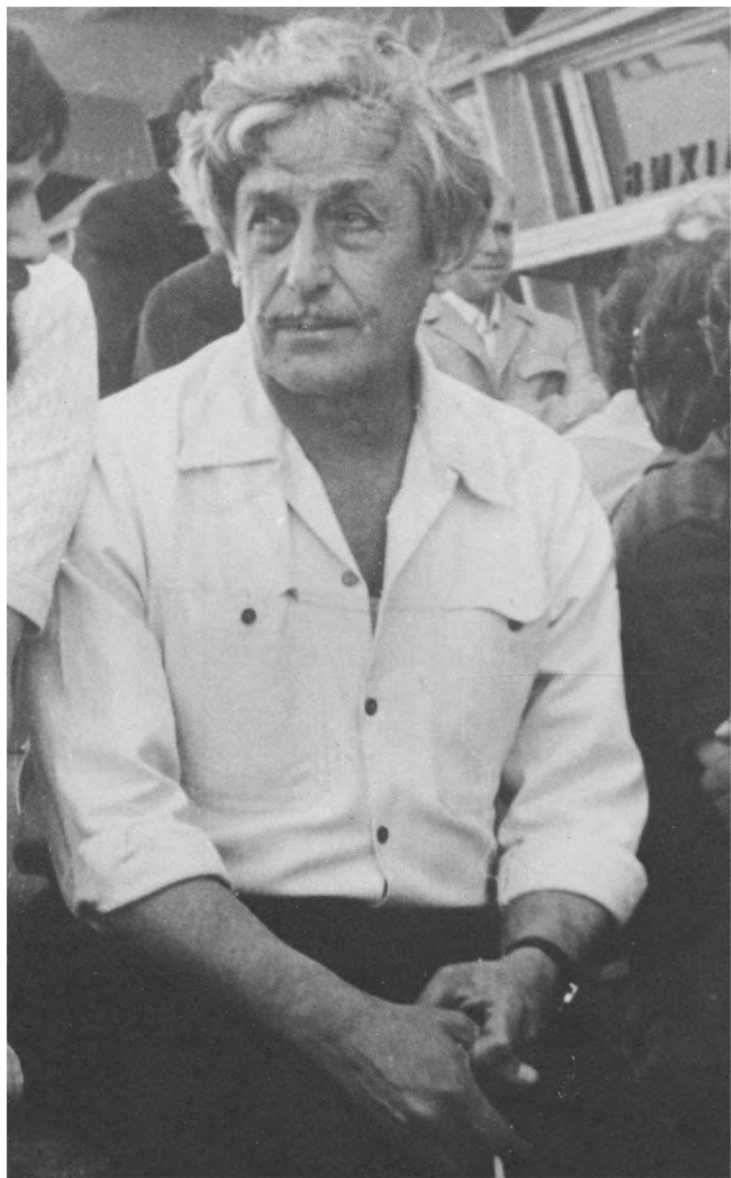


Виктор Некрасов

Но где Сталина
Сфера



Виктор Некрасов
ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ



Виктор Некрасов

На волне Страны
Средь

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

 **EFFECT**
Publishing

New York 1984

Victor NEKRASOV

PO OBE STORONY STENY
(povesti i rasskazy)

Copyright © by Victor Nekrasov

All rights reserved.

ISBN 0 911971 03 3

Library of Congress 84-081387

No part of this publication may be reproduced
without permission.

Published by Effect Publishing Inc.
501 Fifth Ave, NYC, NY 10017

ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ

В полукилометре от Бранденбургских ворот, на центральной аллее Тиргартена, в английском секторе Берлина, стоит памятник Советскому воину. Стела, на ней солдат в каске, внизу два танка и двое часовых. Подойти к памятнику нельзя. Он окружен колючей проволокой, высоким сетчатым забором и всякого рода шлагбаумами. Иногда шлагбаумы открываются и пропускают набитый туристами автобус. Медленно, не останавливаясь, проезжает он мимо памятника, туристы щелкают сквозь закрытые окна фотоаппаратами и увозятся к другим достопримечательностям столицы ГДР или «фронтального города», — это в зависимости от того, из какого сектора приехал автобус.

Почему монумент воздвигнут именно здесь, а не в советской зоне, объяснить трудно, но до памятного всем берлинцам дня 13 августа 1961 года к нему можно было подойти, положить цветы, постоять, о чем-то подумать. У меня сохранилась фотография тех «доавгустовских» дней. Кто-то шелкнул нас: меня и нескольких генералов — на фоне памятника. Мы приехали тогда, в 1958 году, каждый в свою бывшую часть на празднование дня Красной Армии. О чем я в тот момент думал — не припомню. Зато хорошо помню, о чем думал в ноябре прошлого, 1977, года, разглядывая, уже из-за загородки, в бинокль, двух советских воинов, застывших у подножья третьего, бронзового...

То, что мир разделен надвое, человечество ощущает уже шестьдесят лет. Чем это кончится, не берусь судить. Но то, что он разделен надвое прочно, надолго и бесстыдно, я окончательно понял, глядя на то, что называлось когда-то Потсдаммерплатц.

Когда-то это был самый оживленный перекресток Берлина (после войны — черная биржа), сейчас это громадный заросший бурьяном пустырь. И Стена. Вернее, две стены — по эту и по ту сторону пустыря. И колючая проволока. И вышки. И пулеметы... Через весь Берлин.

Китайская стена. Отгородиться китайской стеной. Это уже отвлеченное понятие. Говоря так, мы даже и не думаем о той, настоящей, вьющейся где-то там, далеко, по рыжим холмам, тысячеверстной змеей, помним ее разве что по картинкам из Детской энциклопедии. И вообще всё это дела седой древности, какие-то там богдыханы, династии — короче, китайская грамота.

А тут прямо перед тобой, у твоих ног, разрезанный надвое город. В самом центре, в самом сердце

Европы. Разрезанный по живому, кровоточащий. В буквальном и переносном смысле.

Бернауэрштрассе... В свое время — штрассе как штрассе, пяти-шестиэтажные дома, внизу лавочки, подъезды, парадные... Сейчас всё снесено. Остались только первые этажи. Замурованные входы, двери, окна. За этим берлинская Стена. Невысокая, метра два-три, на ней колючка, за ней в четыре ряда ежи. Потом опять Стена, колючка. И наконец — Германская Демократическая Республика. Ее столица... Пустынные улицы, конечная остановка трамвая. Людей не видно. Так, изредка кто-то пробежит.

Стена тянется с севера на юг. Очень прихотливо, с изгибами, извивами, выступами, где-то отступая, что-то огибая. Бранденбургские ворота на восточной стороне. Рейхстаг на западной, беленький, отреставрированный, только без купола. Стена примыкает непосредственно к нему. Внутри музей и ультрамодерный конференц-зал, тот самый, в котором, вызывая поток нот с советской стороны, заседает иногда западногерманский Бундестаг.

Стена не только разрезает город, она окружает, душит его со всех сторон. Через леса, холмы, по самому берегу озер. На берегу виллы, особняки, парки, но окунуться в прохладные воды не помышляй — Стена! И по самому озеру тоже Стена, по дну. И проволочные ограждения от берега к берегу. Есть и мост, тоже с загородками и шлагбаумами. Называется «Мост единения» — Einheitsbrücke.

Когда немца спрашиваешь, он, поохав, поохав, скажет: «Конечно, позор, но другого выхода у Ульбрихта не было, поверьте мне, вся Восточная Германия сбежала бы. Берлин-то уж точно...»

Бедный, бедный Маркс...

Впервые я попал в Берлин в 1948 году. Тридцать лет тому назад. Корреспондентом «Литературной газеты». Город был разрушен, но улицы были под-

метены, ходили трамваи. Витрины забиты фанерой, посередине маленький квадратик стекла, сквозь него можно было разглядеть перочинные ножички, письменные приборы, открытки — их тогда уже было много: Берлин до и по...

Имперскую канцелярию еще не снесли. Броди по приемным, вестибюлям, гитлеровским кабинетам сколько влезет. Стены сверху донизу в автографах победителей. По запаху чувствуется, что руины используются, в основном, как общественная уборная. Мечта каждого солдата была дойти до Берлина и облегчиться на столе Гитлера. Думаю, что подавляющее большинство дошедших мечту свою осуществило, даже не найдя стола. Неподальёку от имперской канцелярии немислимой помпезности и размеров памятник Вильгельму I. Бронзовые кони, лавры, победы и крылатые гении в таком количестве, что не помню, был ли сам император... Кажется, все же был. Сейчас уже нету.

Тиргартен напоминал Арденнский лес 1918 года. Среди обугленных стволов то тут, то там белели безголовые, безрукие мраморные курфюрсты и принцы. На колонне в центре Зигесаллее, воздвигнутой в честь победы на Францией в 1871 году, — французский флаг.

А в воздухе, один за другим, каждые три минуты — «Боинги». Воздушный мост, Luftbrücke. Это были дни знаменитой берлинской блокады.

И все же это был город. Разрушенный, нищий, задушенный блокадой, но по нему можно было ходить, ездить в метро из одного конца в другой. Только по надписям на мостовой ты понимал, что переходишь в другой сектор — английский, американский, французский. Да по тому, что в киосках тех секторов газет и журналов было побольше.

Сейчас Стена...

Два города. Два мира. Совсем рядом. Мир обмана и попранных прав (новая, насмерть разящая рубрика «Правды») и мир истинной демократии, рас-

кинувшейся от самой Стены до Тихого океана. И на всем 65-километровом протяжении этого, сделанного из бетона чудовищного сооружения — кресты, кресты, кресты... Под ними те, кого настигла пуля восточного пограничника или автоматической самострельной установки.

Всё вместе взятое это называется миролюбивой, последовательной политикой. И делается она руками тех, кто некогда водружал знамя над Рейхстагом. Ну, не тех, а их сыновей, внуков... Берлин, 17 июня... Будапешт... Прага...

Об этом я думал, разглядывая в бинокль двух советских ребят, стоящих в почетном карауле у памятника Победителю.

Недалеко от Фридрихштрассе, возле контрольно-пропускного пункта со странным названием Чекпойнт-Чарли, почти прилепившись к стене, — музей, самый интересный из всех, что я когда-либо в жизни видел. Музей берлинской Стены.

Нет, это не точно. Музей — это нечто тихое, спокойное, с анфиладами зал, дремлющими в углу сторожками, собрание чего-то прекрасного, чем человечество может гордиться. Здесь же наоборот — нечто постыдное, человечество позорящее. На двух этажах тесного помещения, бывшего, очевидно, когда-то магазином, собрано с любовью и ненавистью всё, что связано с событиями 13 августа 1961 года.

(Я живо представляю себе картину — Ульбрихт у Хрущева. На столе поллитра. Беседуют. «Что делать, Никита Сергеевич? Бегут!» — «А ты их за фалды!» — «Не удержишь!» — «Мы вот удерживаем, а нас, смотри, сколько». — «А наших не удержишь, хоть стеной окружай». — «Гениально! Молодчина! Когда там у тебя твой юбилей? Орденишко подкину...»)

Я никогда не думал, что фотографии могут произвести такое впечатление. Честь и хвала тем, кто снимал. Сняты не только факты, мгновения: люди кидаются из окон, выбрасывают детей (внизу, правда, пожарники), спускают вниз каких-то старух — нет, удалось схватить самое важное, самое поразительное — психологию всех этих событий, лица, лица, лица... Особенно ГДРовских пограничников. Удивляешься, откуда столько злобы, ненависти, тупости. Но вот один, совсем молоденький, пожалел малыша, которого разлучили с родителями, и растянул колючую проволоку, чтобы тот мог проскочить. Но застучало начальство и... Вот этот момент и заснят.

Другой парень. Постарше. Пытался перебраться через стену. Подстрелили. Целый час пролежал, обливаясь кровью, пока его вытащили уже мертвым. А в окнах люди, смотрят, молчат, боятся...

Люди в окнах. Это целая история. Скоро эти окна замуруют. Последний взгляд на то, что видел целую жизнь. Улица, дом, газетный киоск.

Стена неумолимо шагает через всё. Разрезает пополам усадьбы, дома, участки. Западная часть дома сохранилась, восточная разрушена. Здесь всё сносится подряд, проходят бульдозеры. И на фоне этого плакат, обращенный к западному берлинцу: «Обернись! Твой враг за твоей спиной. Он проиграл последнюю войну, а теперь хочет, чтобы ты шел и умирал за него». Убедительно!

А вот и дорогой наш Никита Сергеевич. Смотрит на стену и ухмыляется. Молодцы, молодцы, показали им кузькину мать! А вокруг морды, рыла, одно другого тупее. На другой фотографии Косыгин. Как всегда, уныл и печален, ухмылочки никакой, не то что бы стыдно, но и радости, думаю, не ощущает.

Кеннеди. Вместе с Аденауэром. У Бранденбургских ворот. Между колонн натянуты красные полот-

нища — это Ульбрихт натянул, чтобы народ зря не глазел.

И среди этого ужаса и трагедии нет-нет и радостные лица. Это те, кому удалось... Молодой человек, австриец по происхождению, обнаружил в одном из автомобильных салонов на Курфюрстендамм машину таких габаритов, такую низкую, что ему на ней, вместе с невестой, удалось промчаться *под* пограничным шлагбаумом, не задев его. Вслед за ним такой же номер проделал аргентинец, тоже с невестой... После этого все шлагбаумы были оборудованы какими-то вертикальными приспособлениями.

Еще одно улыбающееся лицо. Счастливцу удалось, смастерив примитивный моторчик с пропеллером, проплыть под водой (5 часов!) 25 километров до Дании и только там улыбнуться. С его легкой руки некая солидная западногерманская фирма стала выпускать такие моторы серийно для спорта и... побегов. Оба аппарата — экспонаты музея.

Переплюнуты все Дюма и Рокамболи. Тридцать шесть ребят, в основном студентов, и одна девушка, в течение шести месяцев рыли туннель. И прорыли 145 метров на глубине 12 метров. Спускаться в него можно было по канату из уборной одного из домов восточной зоны. Кончался же он в булочной на Бернауерштрассе. Хозяин сдал ребятам за 100 марок в месяц. 3 октября 1964 года 28 человек спаслись по этому туннелю, включая старика-сердечника, вылезшего из-под земли с синими губами, и пятилетнего пацана, которого удивило только то, что в туннеле не оказалось никаких чудовищ. О наличии их на поверхности он, по-видимому, не догадывался.

Еще одна счастливая четверка. Переоделись в советских офицеров и по всем правилам, отдав честь пограничникам, спокойно проследовали сквозь заставу. Компаньонку упрятали в багажник.

И еще, и еще... Сто тысяч ухищрений. На фотографии растерянный, обалдевший мальчишка, которого папаша прикрепляет к обыкновенному блоку. Потом по натянутому канату его на этом блоке препроводили с крыши шестизэтажного дома в свободную зону.

За 17 лет существования стены — с августа 1961, рискуя жизнью, бежало из Восточного Берлина 175 287 человек.

Вот из этих-то бежавших, помоложе и поактивнее, и сколотился коллектив, организовавший музей. Во главе его немолодой уже Райнер Гильдебрант, автор книги о восстании 17 июня 1953 года. Сейчас передо мной другая книга — «Это происходит у Стены» — сборник фотографий, которые должны знать все.

2

Надо увидеть, чтобы понять. Есть такое выражение. Да, берлинскую Стену надо увидеть, чтобы понять — или окончательно перестать что-либо понимать.

В существование ГУЛага на Западе долгое время не верили. Многие просто не хотели верить. Воочию не видели, очевидцам, жертвам не доверяли. Пошатнулись и даже ужаснулись после Солженицына... А берлинская Стена тут, перед твоим носом. Незыблемая, как символ.

У каждого она вызывает свои эмоции. Аденауэр, рядом с Кеннеди, думал, очевидно, о немецком народе, нации — навеки ли будет разделена или есть какие-то сроки? Кеннеди — не знаю о чем, возможно, об этом же, а вот темпераментный Эмка Коржавин, хотя и поэт, но, стоя на вышке у Бернауэрштрассе, выражал свои эмоции простым и очень громким матом по адресу проезжавшего внизу ГДРовского джипа.

Меня же берлинская Стена, кроме всего прочего (а его предостаточно, и оно не прочее, а основное), натолкнула на мысль озаглавить книгу так, как я ее озаглавил. *По обе стороны Стены.*

Пятнадцать лет назад мне крепко досталось от незабвенного нашего Никиты Сергеевича за книгу со сходным названием «По обе стороны океана». В ней я, наивный чудак, вернувшись из Италии и Америки, пытался разобраться в том, что увидел за океаном, и что-то сопоставить с тем, что вижу каждый день дома.

Попытка оказалась явно негодной. Сопоставления никому не нужны. Нужны разоблачения, выведение на чистую воду. У меня это не получилось, и вполне естественно, что мне дали по мозгам, доказав мою полную несостоятельность. В фельетоне «Известий» очень точно подметили, что «В. Некрасову понравились небоскребы на Золотом берегу в Чикаго, но можно дать справку: один квадратный фут стоит что-то около 20 тысяч долларов. Естественно, что квартирная плата в этом районе по карману только миллионерам. поэтому противопоставлять их архитектуру московским Черемушкам по меньшей мере нелепо. И уж совсем непонятно, как умудрился советский писатель не увидеть социальных контрастов и классовых противоречий американской жизни, военного психоза, разжигаемого империалистическими кругами. Вот уж, действительно, приехал турист с тросточкой».

— Ну, зачем вы, — на полном серьезе корили меня потом на бесчисленных парткомиссиях, — сравниваете какой-то там флорентийский кабак с киевским подвальчиком «Абхазия»? Ведь напротив прекрасный, многоместный, самый большой в Европе ресторан «Метро»? Почему вы о нем ни слова? Нет, далась вам эта паршивая «Абхазия», ее, кстати, вскоре закрыли. Нехорошо, нехорошо, товарищ Некрасов... И не тринадцать в нью-йоркском телевидении каналов, а всего одиннадцать. Не только вы в Нью-Йорке бывали.

Были люди и пообъективнее вас... Вот так-то, товарищ Некрасов. Малость передергиваете. И в чью пользу? Не нашу, не нашу...

После свержения Никиты очерки вышли отдельной книгой. Но сколько битв пришлось мне выдерживать в кабинете милейшей Валечки Карповой, главного редактора «Совписа». Не отставные следователи-пенсионеры, а на этот раз квалифицированные литераторы вполне серьезно пытались доказать мне, что я преувеличиваю военную помощь Америки в прошедшей войне. «Простите, дорогой Виктор Платонович, но как вы, автор такой правдивой книги о войне, можете писать о какой-то там свинотушенке, когда на ваших глазах героически умирали наши солдаты?»

Вспоминаешь это сейчас и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать, то ли плюнуть и забыть. Последнее легче всего. Мне не надо теперь ходить на Б. Гнездииковский, 10, подниматься на лифте на десятый этаж, ждать приема у товарища Лесючевского, а потом узнавать, что на тебя бумаги, увы, не хватает. А на Софронова и Грибачева? Рука тянется к ящику письменного стола: «Хотите, я вам покажу, сколько заявок мы на них получили? От библиотек, воинских частей, различных заводов и предприятий?» И крыть нечем. На меня никаких заявок нету. Не хочет читатель читать, и всё — что тут поделаешь...

Но всё это в прошлом. Стоит ли вспоминать? Сразу и не ответишь — стоит, не стоит. Ушел в небытие волонтерист, ушел со всеми своими гидропонниками, кукурузой, домишками из дерьма (было и такое в Киеве, не все знают), а стало ли лучше? И что значит лучше? В каком смысле? Кому?

Мне — лучше. Потому что «драпанул». Инфляция еще не задушила. Пишу, что хочу, разъезжаю по Европам...

— Ну, куда поедем сегодня? — спрашивает меня Володя Загреба.

Он приехал два года тому назад из Ленинграда, работает анестезиологом в чудном (знаю по собственному опыту) госпитале малюсенького эльзасского городишки Альткирш. Все его там любят, подарили даже добрые люди старенькую, но упрямую еще машину «Ауди», а он в этом деле псих.

— Так куда, Вика, поедет сегодня? — спрашивает он, вымыв после пяти операций руки, а до работы успев еще съездить в Мюлуз на курсы французского языка — встал в шесть утра.

— Куда? — смотрим на карту. — В Гейдельберге был? Нет? Я тоже. Мотнем, что ли?

— Мотнем...

И мы со скоростью 140, а то и 160, мотаем в Гейдельберг. Там нас, правда, застигает проливной дождь, к тому же, к восьми мы должны быть дома, отмечать день рождения одной прекрасной девушки, поэтому ограничиваемся в этом чуде сохранившемся городке чашкой чая с лимоном, покупаем открытки, альбомы, глянули сквозь пелену дождя на замок (в следующий раз приедем в хорошую погоду), и назад на те же скоростях.

Назавтра, после шести операций:

— Куда сегодня?

— На этот раз в Швейцарию, что ли?

— Куда прикажешь? Не хочешь в Невшатель? Там красота, горы, озеро...

— В Невшатель, так в Невшатель. Люблю красоту, горы и озера.

И мы сквозь горы и перевалы, только ели над нами серебрятся, за два часа и в Невшателе. Любуемся тучами и закатами над озером, пьем кофеек, пишем открытки «привет с берегов прекрасного озера» — и назад, теперь уже через Берн, заодно и сосисок там на ужин купим — французские нас не удовлетворяют, жуешь-жуешь, никакого вкуса. Кроме сосисок, умудряюсь еще купить (заносит, заносит в книжные

магазины) книжечку про очень любопытного, неведомого мне австрийского архитектора Фрица Вотруба — презабавную церковь в Вене построил...

— Ну, а сегодня куда?

— В Германии были, в Швейцарии были. Давай в Лихтенштейн. Есть такое княжество на границе с Австрией. Что скажешь?

И мы через Цюрих, через всю Швейцарию, в княжество Лихтенштейн: 22 километра на десять, со столицей Вадуц — пять тысяч жителей. Вот какие княжества есть на свете. Непонятные. Въезжаешь, и при всем желании не можешь обнаружить, где же была граница. Царствует там пожилой, мало кому известный Франц-Иосиф II — физиономия его на всех марках, во всех лавочках и киосках единственных двух улиц столицы. Живет он в средневековом замке на горе — по вечерам подсвечивается. И благоденствует страна, говорят, благодаря банкам, которых хотя на этом клочке земли будто бы больше, чем даже в Женеве или в Нью-Йорке, мы с Вовкой обнаружить так и не смогли. В горах, в пещерах, что ли? Не обнаружили мы и «Гастронома» (сосиски!), очевидно, спасают приусадебные участки.

На этом наши вояжи кончились. Хотели еще в Люксембург мотнуть, да мне уже пора было в Париж. Решили его, заодно с Сан-Марино и Андоррой, отложить до лучшей погоды — начались первые заносы на перевалах.

Вот так, на старенькой, до поры до времени упрямой «Ауди» и знакомимся с миром наживы и потребления, повергая в ужас друзей-французов — никак у них в головах не укладывается, что можно так зазря тратить бензин...

Но возвращаюсь к тому, что прервал, усевшись рядом с Володей в машину... Стало ли лучше? И что значит лучше? В каком смысле? Кому?

Мне, беглецу, лучше. Считаю, что партия и правительство сделали мне подарок. И жена не жалуется, только на то, на что обычно все жены жалуются. В письмах друзьям пишу — всё о'кей. Витя, сын, как и все в его возрасте, собирается обзавестись то ли «Симкой», то ли «Рено» (с тоской думаю об этом моменте — начнутся всяческие волнения с незажигающейся искрой, свечами, карбюратором, и бензин дорожает, и куда бы всем вместе поехать?). Жена его трепещет при приближении очередных soldes — магазинных скидок. Внук Вадик ждет не дождется дня рождения — бабушка пообещала велосипед. За два года он стал настоящим парижским гамэном и носится по всем тротуарам в голубой каске на своей дощечке (scatboard) — очередное мальчишеское увлечение, охватившее весь Запад.

А я от всего этого скрылся к друзьям в Женеву и пытаюсь работать — Париж для этого не создан.

Но, стоп! Расхвастался! Быть может, даже малость приукрасил, обошел молчанием всякие неприятности, огорчения, болезни, смерти (а всё это есть, и не умолчать об этом в дальнейшем). Но, в общем-то, «всё о'кэй» в моих письмах — не особенное преувеличение...

Ну, а там?

Стена...

По одну сторону шестьдесят три года, по другую только три.

Там прошлое, детство, отрочество и юность, мама, друзья, война. Здесь парижи, нью-Йорки, лихтенштейны, воля-вольная, читай «до несхóчу» и ... Стена. Ее ощущаешь, не видя ее. Увидя, понимаешь, что это надолго.

Мне не суждено ее перескочить. Другим удастся. Туда — на недельку-две. Сюда — кто тоже на недельку-другую, на месяц, а кто и навсегда.

Ну, как? Как Москва? — первый вопрос. — Только не говори мне о колбасе. Знаю, что нет, и знаю, что при желании и умении можно и ветчину достать, даже семгу... А так, вообще, насчет воздуха...

И тут лица вытягиваются.

— Ты понимаешь, Вика, это как-то даже трудно объяснить. Ты вот, три года как уехал. И как будто ничего не изменилось. С точки зрения «колбасной», как всегда, то есть, то нет, а где-нибудь в Ярославле или Вязьме не то что колбасы — ни яиц, ни молока, чтобы поймать, в шесть часов утра надо вставать. Но к этому все привыкли — Москва к своему, Ярославль к своему... А вот с воздухом что-то случилось, всё меньше и меньше. Духота какая-то, спертость. Ты скажешь и будешь прав, что за эти шестьдесят лет не только горным воздухом и легкими морскими бризами дышали, но сейчас как-то особенно сперто. Не будем сравнивать со сталинскими временами — дело прошлое, — но и при Хрущеве была все-таки «оттепель», и двадцатый съезд, и Пушкинская площадь, и «шестидесятники» у вас на Украине. Тут же, правда, была и Венгрия, Куба, но рядом с этим и Иван Денисович... А сейчас какая-то тягомотина, гниение на корню. Внешне как будто и проблески какие-то, меньше сажают, кого-то выпускают, но страх, охвативший всех, не проходит. Институт стукачей и топтунов не перевелся. За кем-то неотступно ездят машины, телефоны если не у всех прослушиваются, то каждый, у кого ни побываешь, считает, что именно его на прослушке. И сколько ни убеждай, что в КГБ, как в любом советском учреждении, такой же бардак и неразбериха, и что на всех просто пленки не хватит, и магнитофоны барахлят, и лейтенантам, как и всем, всё осточертело*, — тебя слушают или не слушают, а телефон на-

* К слову сказать, во время обыска у меня на квартире долго искали спички, чтобы заглянуть под шкаф: ни у кого из «мальчиков»

крывают подушкой... А может, вся эта гниль и тоска от того, что читаем сейчас больше — доходят, доходят до нас ваши «Континенты» и «ГУЛаги» — и знаем, что есть какая-то «наша» жизнь там, в Израиле, в Париже, в Америке. Раньше всё в «капстранах» было чужое, а сейчас кап-кап-кап и накапало вас, и живете вы теперь, не умираете, у всех сношные квартиры, а у кого дома́ и машины...

Спешу оговориться — такими монологами раздражаются, в основном, те, кто приехал навсегда, те же, кто погостить, высказываются куда сдержаннее, а иные даже вроде и хвалят. Ну, не то что хвалят, но говорят, что жить в общем можно, продуктов хватает (правда, больше на базаре), у всех телевизоры, у кого и машина. В спор я с ними не вступаю, но вспоминаю, что в свое время, приезжая на Запад «советским» писателем, в каких-то спорах пытался тоже что-то говорить о поголовной грамотности, тиражах книг, очередях в Третьяковку.

С улыбкой вспоминаю я сейчас, как приехал в конце 1962 года в Париж со свеженьким «Иваном Денисовичем» под мышкой (прямо из типографии «Новый мир» дали, еще краской пах) и как со сцены клуба «Жар-птица» хвастался, вот, мол, какие у нас книги стали издавать. А в Манеже, на выставке, даже абстракции сейчас висят и люди спокойно дискутируют между собой, прямо тут, на выставке, под картинами. Наутро я, правда, узнал, что Хрущев с этим делом успел уже расправиться, но это было наутро, а с трибуны я говорил весело и убежденно.

Недавно я ехал в одном купе из Рима в Венецию со своим старым другом Пьетро Цветеремичем.

не оказалось фонарика. А на вторую ночь, закончив обыск, тщетно дозванивались машины, чтобы отвезти семь мешков отобранных у меня вещей. Так и не добившись, взгромоздили мешки на спину и ушли в ночь.

Двадцать лет тому назад он перевел на итальянский мой «Родной город», и вот через столько времени мы опять встретились.

Меня до сих пор интересует, *каким* я был тогда, как вел себя, верили ли мне, был ли убедителен, не чувствовалось ли где-то, что я в чем-то неискренен, повторяю чужие слова? Я спросил об этом Пьетро. Он улыбнулся.

— Видишь ли, тогда мы оба были членами партии. И по-видимому, во что-то еще верили. Сейчас мы оба уже беспартийные, что-то оборвалось в нас... Нет, тогда всё было в порядке, можешь не волноваться, выпивши, ты даже говорил больше, чем положено советскому писателю, но того, что у вас называется антисоветчиной, не порол.

Я понял, что Хрущева все-таки не называл безграмотным самодуром, а Красную Армию я и сейчас защищаю от несправедливых нападков.

3

Вспомнил о Красной Армии и с грустью обнаружил, что из фронтовых друзей никого-то и не осталось.

Отвлекусь-ка я немного в сторону.

О Ваньке Фищенко — лихом и хитром разведчике нашего 1047 стрелкового полка я уже писал. Лучший мой фронтовой друг. Он был моложе меня лет на двенадцать, но до войны — совсем еще мальчишкой — умудрился побывать где-то на севере (в погоне за длинным рублем). Там, по его словам, не зная, куда девать деньги, вставил себе полон рот золотых коронок. Потом пропил их, поэтому зубы у него без эмали, что, правда, не мешало открывать ими бутылки и крышки от консервов. В Сталинграде мы с ним не очень дружили, даже как-то поссорились, подружи-

лись же в медсанбате, потом в госпитале, в Баку, — четыре месяца койка в койку.

В том, что я оказался в медсанбате (он потом утверждал: «...а не на том свете»), повинен был именно он. Дело было на Украине, летом 1943 года, на берегу Донца. Чем наша часть занималась тогда, трудно сказать: считалось, что наступаем, на самом же деле топтались на месте. Случилось так, что дивизионный инженер Ниточкин, а заодно с ним начальник штаба полка Питерский, обуреваемые оба неким полководческим зудом, спьяну надумали вдруг овладеть соседней деревней Голая Долина. На свое несчастье, я подвернулся им под горячую руку.

— Давай, инженер, выковыривай людей из кустов, хватит отлеживаться, и шагом марш, вперед! Овладеешь этой чертовой Долиной, к ордену представим, а нет — с партбилетом расстанешься. Ясно? Выполняй!

Приказ есть приказ. Людей, человек двадцать, я собрал, но до выполнения задания забежал к Ваньке Фищенко и угощен там был полной кружкой горилки. Кончилось всё медсанбатом. Сколько мы там пробежали, «За Родину! За Сталина!», уже не помню, помню только, что с поля боя волокло меня не менее четырех человек: — как-никак командира из-под огня спасали.

В 26-й палате бакинского эвакогоспиталя мы с Ванькой Фищенко дружно, но в меру, чтобы не подводить врачей, нарушали дисциплину. В ноябре 43-го года расстались — освободили Киев, и я досрочно выписался. Но после войны он меня разыскал, и наша дружба укрепилась уже в условиях «мирного созидательного труда».

Некоторое время он жил у меня, и, должен сказать, я не без некоторой гордости (и даже зависти) любовался им, когда он — пьяница и первый заводила, — согнувшись по ночам над столом, делая свой диплом-

ный проект, заканчивал горный техникум. Потом, на шахте, к нему относились с превеликим уважением, хотя случались и срывчики — в кое-каких ситуациях он был не слишком воздержан. Ситуации эти заносили его иной раз в противоположный конец страны — я об этом уже писал, — и в последний раз я его видел в период одного из этих заносов — заскочил на часок, с поезда на поезд, по дороге в Сибирь. Залихватский чуб его, свисавший чуть ли не до подбородка, малость поредел, зубов во рту, тех самых, которыми он когда-то открывал бутылки и крышки от консервных банок, стало заметно меньше, нос кто-то свернул ему на сторону, но глаза, живые, хитрые, оставались прежними.

Опустошив вторую поллитровку, похлопал всех по спинам, влез в оба своих пальто («второе на загон, когда всё пропью!») и умчался в очередное странствие, в поисках длинного рубля — «устроюсь, напишу!». Написать не написал, а явился на мою киевскую квартиру буквально на второй день после того, как я ее покинул навсегда... Оставшиеся после меня друзья приняли его по всем правилам, но, в силу именно этого, никто потом не мог вспомнить, откуда он свалился и куда держал путь.

И не увижу я никогда уже своего бедолагу, беспутного Ваньку, и не раздавлю с ним пузырька, и даже письмо не знаю куда написать, за три года нашего отсутствия ни у кого из наших общих друзей он не появился (я бы знал), канул в неизвестность...

А парень он стоящий, очень неглупый и очень способный — все мои друзья, и киевские, и московские, крепко полюбили его, прощая даже невоздержанность при определенных обстоятельствах. Да, не встретиться нам уже на этом свете...

Растворился и другой друг, второго периода моей фронтовой жизни — Николай Митясов. Был он начальником штаба, а я замкомбата 88-го гвардейского саперного батальона. Когда мы познакомились, он

был тогда еще командиром роты, и только после того, как начштаба Щербаков в Одессе подорвался на mine, назначен был на его место. Дружба наша длилась недолго, каких-нибудь четыре месяца, и прервана была немецкой пулей, угодившей в меня в городе Люблине и навсегда оборвавшей мою военную карьеру.

В память о нашей дружбе я окрестил своего героя в «Родном городе» его именем и фамилией, это и свело нас вторично. «Ох, и доставил ты мне хлопот своей повестью, — жаловался он мне потом, улыбаясь. — Жена остается женой. Не поверила, дуреха, что ко мне твой Николай Митясов не имеет никакого отношения, всё допытывалась, почему я скрыл от нее Шуру и Валу, о которых твой Некрасов проболтался».

Встретились мы с ним и крепко выпили только один раз. Жил он в Москве, учился в Инженерной академии. Потом некоторое время переписывались. Последнее письмо пришло издалека. Писал, что живет и работает сейчас за пределами нашей страны, учит саперному делу каких-то «туземцев» и в знак благодарности получил в подарок машину ни больше, ни меньше, как от самого короля. Какого, я так и не мог понять — марка и штампель были советские, а кроме афганского, никакого другого короля я поблизости не обнаружил.

Смотрю на фотографию, висящую у меня в Париже над столом, — наш батальон весной 44-го года в лесу, где-то у Чарторыйска, на Западной Украине. Лица все знакомые, родные, а фамилии уже позабывал. Комбат Петров, замполит Абид — убило под Берлином, командир отделения Петроченко, писарша Люся, ну и Коля Митясов — остальных забыл. Нет на фото Страмцова, Николая Лукича — перевели в штаб дивизии, а в Сталинграде он приходил еще в мой полк со своими дивизионными саперами выполнять какое-то задание. В 48-м, в Германии, мы с ним снова встретились. Стал командиром того самого 88-го

саперного батальона, в котором я заканчивал службу. Стояли они возле Геры, я заехал к нему на несколько дней, вроде даже на охоту ходили — сохранилось фото с двустволками, — но подстрелить никого не подстрелили, больше пили на свежем воздухе.

Переписывался одно время с Костей Половневым — начартом нашего полка, тоже в Баку вместе лежали, с комвзвода Ильным. Оба они сибиряки. Ильин, уйдя на покой, занялся вдруг тканьем ковров — так, для души, хобби. Прислал фотографии своих изделий, просил указать, какой понравился, соткет, пришлет. Я без особого энтузиазма отнесся к этому предложению, и, по-моему, он даже немного обиделся. Да простит он меня — мы с ним не долго вместе служили, но я полюбил его за спокойствие и юмор. «Да, — говорил он с оттенком грусти, — грудь моя не запятнана орденами!» Начальство его не очень любило, в основном, за излишнюю интеллигентность.

Ну и, наконец, Валега, дорогой мой лопухий Валега. Связой, ординарец, денщик, а в общем тоже друг, хотя и была между нами разница лет в пятнадцать. О нем я уже много писал. О том, как воевали, как нашел он меня после войны, как «пропил» я его, как потом встретились дома у него, на Алтае. На память об этой последней встрече осталась куча фотографий и среди них самая моя любимая — оба в обнимку на траве, одни макушки видны.

А на следующий день в клубе был торжественный вечер. Вечер сталинградцев. Пустили фильм «Солдаты», в нем Валегу играл Юрий Соловьев — он тоже со мной приехал, а к концу полдюжины сталинградцев поселка Бурла, все при орденах и медалях, делились воспоминаниями. Блистательнее всех мой Валега. Вышел в аккуратном пиджачке, белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, потоптался и, не поднимая глаз, сказал: «Ну, как воевали? Минировали, ставили спираль Бруно, опять минировали. Вот и всё... Спа-

сибо, что пришли...» — и ушел со сцены. Хлопали много. А я только глаза утирал...

В первый свой парижский Новый год я поздравил его красивой открыткой. Он ответил. Ко Дню Победы опять поздравил. Он не ответил. Это не в его привычках. Думаю, что тут не без постороннего влияния. А несколько дней тому назад отправил ему роскошный большой календарь с видами столиц мира. Дошел ли? Висит ли на почетном месте, где все фотографии, и та, с макушками? Или застрял где-нибудь на таможне или в райкоме?

...Валега! Пей, оруженосец! Пей за победу! Видишь, что фашисты с городом сделали? Кирпич и больше ничего. А мы вот живы. А город... Новый выстроим, правда, Валега? А немцам капут. Вот идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяла, о Берлине вспоминают, о своих фрау. Хочешь в Берлин, Валега? Я хочу, ужасно как хочу. И побываем мы там с тобой — увидишь! Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим, на минутку, на стариков моих посмотреть. Чудесные старики, ей-Богу. Давай, выпьем за них — есть там еще чего?

Это последние страницы из «Окопов Сталинграда». Писались они тридцать три года тому назад, когда я даже не знал, жив ли он или нет? Тогда ему было лет двадцать, не больше. И только через пятнадцать лет узнал он, что стал «героем» книги и кинофильма. Вот что в жизни случается. А сейчас трижды дед, а седины нет — как писал он в одном из писем.

И нет больше писем... И не увидимся мы никогда...

А вдруг?

Я провожал друга, все того же Володю Загребу, из Парижа в его Альткирш. Что-то напутали в расписании и пришли на вокзал, Гар де л'Эст, за час до

отхода поезда. Зашли в ресторан, заказали по чашечке кофе. В ожидании кофе я побежал за «Франс-Суар», а когда вернулся, Володя уже оживленно беседовал на своем сверхбойком французском языке с молодым парнем, соседом по столу. Тот в мое отсутствие поинтересовался, не итальянец ли Вова (судя по акценту), Вова сказал, что он русский, но работает во Франции. Тот рассмеялся и сказал, что он француз, но работает в Англии. Начинаящий журналист, он поехал в Лондон, попрактиковаться в английском. Работает барменом.

Мы разговорились, о том, о сём. Володя не преминул сообщить Жану-Мари о моей профессии.

В результате получил я от этого Жана-Мари недельки через две-три из Лондона довольно интересное письмо. Он разыскал где-то мою книжку «В родном городе» на французском языке, и вот, оказывается, она его заинтересовала.

«Прочел с большим интересом, — пишет он, — но многого не понял. Не понял, в частности, «милитаристскости» вашего Николая Митясова, его тоски по фронту, по войне. Я на стороне Алексея, который так убедительно развенчивает культ «окопного братства», процветавший в немецком Вермахте. Ответьте мне, объясните. Ведь мысли Николая — это, вероятно, ваши мысли, ваши ощущения».

Ответил я ему пока кратко (не в моих силах писать по-французски, а переводчика под рукой не оказалось), попросил прочесть для начала «В окопах Сталинграда», а потом уж поговорим всерьез.

Как же милому, пытливому Жану-Мари всё это объяснить? Милитаризм, культ войны... Вермахт, Красная Армия...

Грубо, в общих чертах, гитлеровская философия «окопного братства» такова: на войне, перед лицом смерти, все равны. Пуля не считается с тем, кто ты — богач, бедняк, граф или рабочий. Поэтому — да здрав-

ствует война! — она, кроме героизма, рождающегося на ее полях, сближает людей, уничтожает различия между ними...

Убедительно? Может быть. Война уравнивает всех! Да здравствует война! Хох! И рождает героев! Хох! Героический народ героически воюет! Идет на смерть! За фюрера! За народ! Ein Reich, ein Volk, ein Führer!

Мы тоже кричали «За Родину! За Сталина!». Но мы другое дело. Разве мы захватчики? Мы освобождали, воссоединяли, обороняли свою родину. От Финляндии в том числе (война, на которую в художественной литературе наложено строгое «табу»), «мы чужой земли не хотим, но и своей, ни вершка своей земли не отдадим!» С вершками что-то не очень получилось, но кончилась война всё же в Берлине, а не в Москве. И чужих земель, которых не хотели, вдруг захотели и присоединяли вдоволь. И отгородились Стеной.

Но это сейчас. Тогда же, тридцать с лишним лет назад? За что мы воевали? Да не «за», а «против». «Бей фашиста!», «Убей немца!». Ясно и просто. В конечном итоге всё это привело к тому, к чему привело. Тоталитаризм сменил просто окраску — коричневую на красную. Могли ли мы, воевавшие, предвидеть это? Нет! Казалось, что война кое-чему научила — отучила от бахвальства, вранья, научила смотреть правде в глаза. Наконец-то!

Так думали мы тогда, в Сталинграде, и потом, обнимаясь, целуясь и стреляя в воздух после победы. Всё обернулось совсем-совсем иначе. Но память о тех днях, днях, когда мы во что-то верили, свята. Поэтому мы, уцелевшие, вспоминаем о них, как о чем-то светлом, хотя это была и смерть, и кровь, и грязь.

Вот почему, дорогой Жан-Мари, Митясов тоскует по своей части, по своим фронтовым друзьям. В «Родном городе» этих размышлений нет — не обо всем у нас напишешь, да и писалась книга четверть века тому

назад, когда мы еще за что-то цеплялись, считали, что всё же чем-то что-то искупили.

А сейчас и цепляться не за что.

В самый разгар вьетнамской войны встретился я в одном доме с летчиком. Дом этот был Сергея Параджанова, где всегда принимали широко и весело. Летчик, молодой парнишка, служил во Вьетнаме и получил отпуск для лечения. Направление было в какой-то западноукраинский курорт, попить нафтуси или чего-то от почек. По дороге пересекся где-то с Сергеем и никак не мог вырваться из Киева. Пятый или шестой день пытался добраться до вокзала. Забегал на минутку попрощаться, выпить стремянную, и поезд уходил без него. Я застал его уже со стремянной в руках, на балконе, более или менее тепленьким. Он был бледен, молчал, крутил в руках стакан, потом начинал говорить и не мог уже остановиться:

— Понимаешь, живем за колючей проволокой. Никого не видим. Варимся в собственном соку, дружим, ссоримся, пьем... Вьетнамцев и в глаза не видим... Где-то они там, чёрт знает где... Потом приказ — в воздух! И поднимаемся, летим, чтобы сбить какого-то Джона из Оклахомы... Зачем? Почему? Что он мне сделал? С Америкой мы не воюем, почему я должен в него стрелять? За какой идеал я воюю? За какую правду? Вьетнамскую? А подавись они, косоглазые, век бы их не видел. Но приказ есть приказ... И у Джона приказ... И вот сбил Джон моего кореша, Ваньку Сидорова. Сбил и всё, нет Ваньки. Вот только зеркальце от него осталось... Возьми на память... Выпьем за Ваньку, мировой парень был.

И мы выпили за Ваньку. А зеркальце хранится у меня до сих пор.

Вот такой вот летчик, лейтенант. За какую правду воюем? Вьетнамскую? И собьет его за эту правду какой-нибудь Джон из Миннесоты, или сопьется вконец...

Ну, а солдат, рядовой, «колышек»? Каково ему сейчас, где-нибудь на китайской границе? Там у бывших братьев своя правда. Иди разберись, чья правдивее...

Владимир Рыбаков был на этой границе. И написал книгу. Называется она «Тяжесть». Издана по-французски и по-русски, и очень хотелось бы, чтобы прочитали ее в Союзе. Умная, невеселая книга.

Дима Рыбаков (смесь французского, русского и польского) родился во Франции. Родителей его, как и многих других, после войны потянуло в Советский Союз восстанавливать разрушенное. В восторг не пришли и вернулись назад, во Францию. А Диму забрали в армию. Два года прослужил сержантом на Дальнем Востоке. Сейчас в Париже. И написал «Тяжесть».

Тяжело...

Солдату нигде и никогда не бывает легко. Ни суворовскому, ни жуковскому. И в мирное время (понятие относительное — озеро Хасан, остров Даманский...) тоже — такова уж жизнь солдатская, но...

Командующий Вторым фортом Порт-Артура в последние, самые тяжелые дни обороны доносил своему начальству: «С питанием плохо, солдаты получают мясо только два раза в неделю, и то конину». Защитники советских границ на Дальнем Востоке видят его тоже два раза. Только не в неделю, а в год — седьмого ноября и первого января («Тяжесть»). Непостижимо? Может, мясо стало вредным, солдаты жиреют от него? Или перевозить неоткуда? Товарищ маршал Устинов, вмешайтесь! Солдат жрать хочет. Подскажите там Брежневу или Громыко — пусть отдадут два этих чертовых курильских островка Японии и покупайте для солдат прекрасное новозеландское мясо у самураев...

Солдат голоден — это раз. Солдат не понимает — это два...

И понять нельзя. Два самых сильных коммунистических государства оставили друг на друга орудия. И иногда эти орудия стреляют. И парень с французским паспортом — Дима Рыбаков — тоже стрелял. В китайцев... Нет, не в ревизионистов и предателей, а в тех, что прошлой ночью напали на заставу в Ново-Михайловске и всех ребят перерезали... И... Огонь! По косоглазым — огонь!

Непонятно? Не укладывается в голове? А политрук на что — душа и сердце подразделения? Прочухается, опохмелится и всё объяснит. Гады и неблагодарные сволочи! Бей их, косоглазых! Ясно? Ясно! Есть вопросы? Нет... Румянцев, почему пуговица расстегнута? Два наряда вне очереди...

И идет Румянцев в наряд, ненавидя политрука, китайцев и ту сволочь, что сперла у него сегодня сахар.

Вот так вот и стоит на границе голодная, мечтающая только о дембеле, самая лучшая в мире армия, а по ту сторону Уссури под тем же красным знаменем другая — непонятная и страшная...

И никто ничего не понимает...

Написал я всё это, а сейчас, ознакомившись с дополнительными материалами, понял, что поторопился. Как выяснилось, на февральские учения Минского военного округа под кодовым названием «Березина» — «войска вышли с большим подъемом. У всех на устах крылатое изречение товарища Л. И. Брежнева о том, что всё, созданное трудом народа, должно быть надежно защищено... Особым зарядом энергии и мужества явились для гвардейцев опубликованные на днях в журнале «Новый мир», в газетах воспоминания Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», проникнутые любовью к социалистической отчизне, преданностью делу партии».

С чувством гордости прочел я эти строки в «Известиях» за 7 февраля и сразу же ощутил в себе солидный заряд энергии и мужества.

...А потом прочел и «Малую землю». И многое узнал. И о прошлом, и о настоящем. О прошлом — что в общем-то неправильно я понял всё, что произошло во время Великой Отечественной войны. Неправильно и писал о ней. Попытался, вот, написать что-то о Сталинграде и упустил совсем из виду самое главное, самое существенное — войну-то выиграли в конце концов политработники. Не будь их... Да что говорить. У тов. Брежнева очень убедительно об этом сказано. И о том, что они, политработники, всегда на два шага впереди нас были, рядовых офицеров. А я, дурак, думал, что километров за пять от передовой... Виноват. Каюсь. Было бы время, переписал бы «В окопах Сталинграда». А может, еще и успею.

И о настоящем узнал я многое после «Малой земли». Узнал, чем живет моя страна. И стало мне впервые жаль, что я не там. Что не могу вместе с моими друзьями-писателями, то ли в Москве, то ли в Киеве, то ли на полевом стане или на рыболовецком траулере, рассказать простым труженикам о том заряде энергии, который вселился в меня, о самой книге, словом, о всем том, о чем говорит сейчас вся страна устами своих лучших людей. Но я далеко... И мне больно. Обидно. Завидую Сергею Наровчатову, академику Благому. Они все могут сказать, что рвется у них наружу, а я не могу. Сажу в какой-то идиотской Швейцарии, в Женеве, читаю взахлеб, не отрываясь, «Литературную газету» и локти кусаю...

4

Сажу в Швейцарии и локти кусаю. А ведь когда-то любил ее.

О Швейцария! Какая чудная страна. Какие горы, озера и замки...

Так начинался гимн, ода, стихотворение в прозе, посвященное Швейцарии и написанное автором этих строк Бог знает сколько лет тому назад. Возможно даже, что это первое в его жизни литературное произведение, сохраненное матерью, прошедшее через все годы и невзгоды. В синенькой, очевидно, еще дореволюционной, тетрадке, крупными буквами с твердыми знаками, на косых линейках в самых восторженных выражениях повествуется о ледниках и водопадах, альпийских лугах и снежных вершинах, озаряемых лучами восходящего солнца. На первой странице вверху прикреплен засушенный эдельвейс, а внизу, уголками в разрезы страницы, всунута старенькая открытка Шильонского замка. Изображение его мне дорого во всех отношениях.

Очень большое, в черной с золотом раме, оно, в виде цветной (вернее, хорошо раскрашенной) фотографии, вошло в мою жизнь с самого раннего детства. Висело оно в столовой над диваном, как раз против меня, и я, размазывая по тарелке манную кашу, любовался мрачными стенами замка, голубизной озера и снежной вершиной Dent du Midi.

Потом, когда столовую у нас реквизировали и поселилась в ней семья милиционера Ивана Ивановича Сидельникова, замок перебрался в комнату, которая называлась гостиной, и обосновался над бабушкиной кроватью. Обеденный стол тоже перебрался в комнату, которая называлась гостиной, так что и здесь я мог любоваться любимым пейзажем.

Дом наш немцы во время войны сожгли, но картина была спасена и повешена на стене мало уютной комнаты на Горького, 38. Увы, на этот раз она оказалась за моей спиной, но с переездом на Крещатик, в Пассаж, опять попала в поле моего зрения. Висела над диваном. Висела она и тогда, когда пришли ко мне

«мальчики» проверять содержимое моих шкафов и ящиков. Чтобы не мешать их серьезному делу, я устроился на диване в соседней комнате, углубился в «Мастера и Маргариту» и время от времени, поднимая голову, сквозь открытую дверь ласкал взор мрачными стенами, лазурью озера и снегами дальних гор. К концу второго дня руки «мальчиков» добрались и до нее. Ее очень осторожно сняли, очень внимательно осмотрели со всех сторон и так же осторожно водрузили обратно.

Сейчас картина опять перед мной. В Париже, на рю Лабрюйер, 7. За завтраком, обедом и вечерним чаем я по-прежнему люблю замок, озером и белоснежной вершиной. Вот так, добрых шестьдесят лет и не расстаемся.

А в письменном столе, в среднем ящике, хранится еще одна реликвия — открытка все с тем же Шильоном. С некоторым удивлением обнаружил я ее за стеклом газетного киоска на Крещатике, у выхода из Пассажа. Купив ее, прочитал на обороте: «По Ленинским местам. Шильонский замок. Его посетили летом такого-то года В. И. Ленин и Н. К. Крупская».

Оказавшись в Швейцарии, я сразу же последовал их примеру. И, стоя в мрачном подземелье перед колонной, к которой прикован был Бонивар, я думал о Байроне — родился он на полстолетия позже, знал бы он, чем на самом деле знаменит этот замок, а то какой-то там Шильонский узник...

Вспомнил я тогда, стоя у колонны, и памятный день, когда киевские «мальчики» столь старательно рассматривали обратную сторону моего любимого замка. У одного из них родился в ту ночь то ли парень, то ли девочка. Сейчас ребенку уже четыре года. Пойдет ли он по стопам отца? Почему-то и об этом я подумал, разглядывая тяжелые цепи Шильонского узника. А может, к тому времени — давайте помечтаем — институт этот будет уже упразднен?

Итак, Швейцария. Сейчас Женева. Та самая, в которой жил и трудился Ленин. И Плеханов. И хожу я по тем же улицам, набережным, мостовым, по которым они ходили. Возможно, даже покупаю «Правду» в том же магазине Навиль возле англиканской церкви, где они покупали какие-нибудь «Русские ведомости» и парижское «Фигаро», которое я тоже покупаю. От всего этого умиляюсь. И как-то скрашивает даже то, что я сейчас не дома, не в Союзе писателей, не прошу слова у Сергея Наровчатова.

Живу я не в самом городе, а в пригороде Тонэ, у самой французской границы. Когда выхожу из трамвая на конечной остановке, вижу, как валом валят пассажиры через границу в соседнюю Францию, — таможенный пост прямо посередине улицы, и пограничники останавливают только машины, да и то не всегда. («Мы как хотим, сначала во Францию, а потом на почту или сначала на почту, а потом во Францию?» — разговор между мной и моей милой хозяйкой по поводу некоего французского лекарства — в Женеве его нет, а в соседнем французском Анмасе, наверное, есть.)

Трамвай, которым я езжу в Женеву, тоже примечательный — первый в Европе. И даже именно эта линия — № 12. Женевцы очень этим гордятся, а так как киевский трамвай был первым в России, меня с женецами это как-то очень сближает. Мы с детства гордились и влюблены были в наши длинные киевские пульманы с тремя открытыми площадками (вскакивание и выскакивание на ходу было одним из видов спорта), знали почти все вагоны наизусть, и величайшим событием нашей жизни было, когда они с ролика перешли на дугу. Мы одновременно были счастливы (как в Москве!) и огорчены — ролик часто, особенно на поворотах, соскакивал, и вагоновожатые иной раз разрешали нам, мальчишкам, помогать им тянуть упрямую, упирающуюся штангу с роликом на место. Женевские трамваи напоминают старые киевские (не

пульманы, а двухосные), только миниатюрнее — так же уютно дерлинькают и на заворотах издают какой-то специфический трамвайный воющий звук (этот звук — единственное, что сохранилось в моей памяти с тех пор, когда я еще до первой войны, трехлетним, жил в Лозанне).

О Женеве принято говорить (снобами, оговорюсь) — скучная. Даже моя жена (в общем-то не снобка), отправляясь отдохнуть из шумного, жаркого Парижа в Женеву, с кислым видом жаловалась: «Сам, небось, в Испанию едешь, а меня в какую-то дыру...»

А мне эта дыра нравится. И именно тем, что не нравится в ней снобам. Своей якобы провинциальностью, магазинами без толкотни, нешумными кафе с какими-то штурвалами и подозрными трубами на стенах и уютными старичками, пьющими свой кофе (а может, это крупнейшие международные шпионы?)... Нравится, что мост называется Pont du Mont-Blanc и в ясные дни видны его снега. Нравится малюсенький островок с бронзовым Руссо, на том месте, где он, очевидно, когда-то сидел и о чем-то думал, а может, и не думал, а смотрел на лебедей, как я сейчас, — такие они задумчиво-изогнуто-изящные, а взобравшись на ступеньки лестницы, бегут вразвалку, отталкивая друг друга из-за каких-то хлебных крошек. Нравится ездить в трамваях, почти всегда пустых, с электропечкой под твоей задницей — сейчас февраль, и это очень уютно. Нравятся крутые, узкие улочки возле кафедрального собора, лесенки, подпорные стенки, крохотные площадки с фонтанчиками посередине (чуть меньше, когда вместо них какой-нибудь Генри Мур...), нравятся шпили церквей и презираемый всеми модерн начала века с башенками, флюгерами и прочими излишествами. Увы, их безжалостно сносят один за другим и вырастает на их месте бездушный модерн конца века, стеклянно-тоскливые Манхеттен- и Чикаго-сити — банки... Исчезают, исчезают и здесь Собачьи

площадки... Осуждаю я и местных садовников, не только архитекторов. Безжалостно корнают они могучие платаны набережных, оставляя воздетые к небу, угрожающие кому-то кулаки, ни дать ни взять Сальватор Дали. Ну, вот и всё, что осудил я, остальное же всё нравится. («Счастливый же вы человек, — сказал мне один женевец, — если вам в Женеве только это не нравится». Потом я узнал, что в Женеве за коммунистов голосует 25%, и понял, что обкорнанные деревья, действительно, не самое большое горе.)

Упомянув с явным негодованием о «модерне» последней четверти нынешнего века, не могу не вспомнить печальную историю первой его четверти, местом действия которой была всё та же Женева.

Речь идет о Ле-Корбюзье, великом архитекторе и, к слову сказать, швейцарце по происхождению. Мрачные силы архитектурной реакции, пассаизма (говорю без всякого юмора, хотя сам с возрастом становлюсь консерватором) воспротивились тому, чтобы проект нового здания Лиги Наций (сейчас в нем Организация Объединенных Наций) осуществлен был Ле-Корбюзье. Жюри конкурса, придравшись с чисто формальной стороны (работа, мол, представлена не в туши, как того требовали условия конкурса), проект завалило. Никакие протесты не помогли, и в результате на месте, где могло бы появиться одно из интереснейших сооружений XX века, красуется сейчас одно из невыразительнейших зданий того же века. (Второй удар настиг Ле-Корбюзье в Москве, но там хоть на месте неприятного проекта ничего так и не построили — летом бассейн, зимой каток.)

В какой-то степени Женева искупила потом свою вину (свою ли?) перед Ле-Корбюзье — в самом центре города есть его дом. Может быть, это не самое интересное из того, что он сделал, но все-таки сейчас это уже классика. Дом, довольно спокойный параллелепипед, стоит на пригорке, торцом к улице, но лучше его

рассматривать со стороны *ruelle des Templiers* (улочки Тамплиеров), а еще лучше с *rue du Maison Rouge* (улицы Красного Дома — названия-то всё какие!), крохотного переулочка, состоящего из нескольких совершенно неожиданных в центре прилизанной Женевы развалюх, очень живописных, но уже еле дышащих. Боюсь, что их скоро снесут и сразу станет скучно — контрасты все-таки нужны.

Недалеко от дома Корбюзье — музей, говорят, неплохой. Но в последнее время я стал музеи как-то избегать, уставать от обилия вокруг тебя картин, скульптур, и сейчас вместо того, чтобы идти на выставку сокровищ, приехавших из Багдада (она еще открыта, могу успеть), я разглядываю сокровища местных ювелиров — ни в одном городе не видел я такого количества «ювелирторгов». Женева — центр ювелирной и часовой промышленности Швейцарии (Брокгауз и Эфрон, том 22), и это чувствуется на каждом шагу. А так как шагов этих я проделываю ежедневно немало, и направо и налево от меня магазины, и из них половина ювелирные, то я уже кое в чем разбираюсь. За всю свою жизнь я не видел столько бриллиантов, сколько вижу на протяжении одного квартала любой из центральных улиц. Я люблюсь ими — красиво, ничего не скажешь, переливаются, подмигивают мне из витрины, но я делаю вид, что не понимаю, и перехожу к соседней. Часы...

Поверьте мне, если бы вы хотели их купить, имея даже много денег, вы бы стали в тупик... Нет, тупик это не то слово. И «растерялись» тоже не то слово. Пред вами россыпи, водопады, Ниагара, Виктория-Ньянца, сокровища индийской бегумы. Бриллиантовые, платиновые, золотые, серебряные. Круглые, овальные, квадратные, продолговатые, в виде трубочки, звезды, солнца, Юпитера, Сатурна, кометы Галлея, в виде перстня, домика, кареты с четверкой коной, откроешь дверцу, а там часы. И всё это умещается

в руке... Я стоял перед витриной магазина Баумгартен на rue du Rhône (а к витринам я за эти три года более или менее привык) и, ей-Богу, разинул рот. В четырех витринах этого магазина было выставлено — я не поленился, подсчитал — 488 часов! И это только ручных и дорогих, не меньше 500 швейцарских франков. Предел, дальше некуда.

Через три шага другая витрина. Здесь я уже не считал. Здесь «молодежные», подешевле. С календарями и знаками зодиака, с внутренностью наружу, ковбой размахивает Смит и Вессоном, футболист катит мяч, балерины, спутники... Звенящие, поющие, играющие на гитаре, балалайке, саксофоне, считающие логарифмы, извлекающие корень, читающие наизусть всю «Божественную комедию», морозоустойчивые, противоинфарктные; атомные, водородные, нейтронные и вообще — у алжирского бея под носом шишка... Еще минуту, и за мной приедет скорая помощь.

Кончилось тем, что я зашел в магазин детской игрушки напротив и купил львенка с розовым носом и черными ладонями, есть такая кукла-перчатка, один палец вставляешь в голову, два других в лапы и начинаешь что-то там манипулировать. Зачем его купил, не знаю, но купил. Мимо книжного магазина я бежал уже галопом, на первом этаже справа альбомы... Нет в мире фотографий прекраснее тех, что сделали английские альпинисты, поднявшись по юго-западному склону на Эверест в 1974 году. Утверждаю и настаиваю — нет! Описать не могу... Только в Непал, в Катманду, на Эверест, Гауринзанкар, Канчинжингу, Давалагири...

Сажусь в трамвай и еду домой.

Окажись я с таким текстом в кабинете милейшей Валечки Карповой, думаю, что на меня некоторое время смотрели бы со смешанным чувством сожаления

ния и укоризны, а потом кто-нибудь сказал бы — вероятнее всего, сама Валентина Михайловна:

— Дорогой и любимый наш Виктор Платонович, удивляете вы все-таки нас. Вы не первый день в литературе, вы опытный, любимый народ писатель и вдруг опускаетесь до уровня, простите меня, глазеющего по сторонам туриста, которого ослепляет внешний блеск, и, ослепленный им, он не различает того, что за ним скрывается. Но вы-то не турист, вы всё понимаете, почему же вы так старательно обходите самое существенное? Никто не требует от вас плакатного разоблачения капитализма как такового. Вы человек тонкий, умеющий видеть, почему бы вам, например, не зайти в этот самый магазин и не поговорить с продавщицей? Вокруг нее целый день эти бриллианты, она с улыбкой предлагает их покупателю, но она их ненавидит, ненавидит, потому что...

Вот что я услышал бы из уст Валечки Карповой и, вероятнее всего, зашел бы в конце концов в магазин, так как мне надоело бы слушать и не хотелось бы из-за каких-то там мелочей задерживать выход книги.

Сейчас от Валечки Карповой я, слава Богу, не завишу, но косых взглядов мне не избежать. В мире такое творится — Чили, Камбоджа, не говоря уже о Советском Союзе, а он о каких-то...

Один очень дорогой и любимый мною человек из далекой Москвы не то что осудил, но с горечью сказал по поводу моих предыдущих записок: «Он пишет о каких-то там крестинах... Но мне это неинтересно, зачем мне эти крестины?..»

И тут я умолкаю. Очевидно, если говорить уж о крестинах, я просто плохо о них написал. Напиши я лучше — а это не всегда удается — и сцена могла бы вырасти в нечто большое, серьезное, с раздумьями о рождении человека, да еще на чужбине, об обрядах, о религии, о преследовании ее у меня на родине, на-

конец, о тех комсомольцах, которые крестят своих детей где-нибудь в захолустной церквушке, — видел я и это. Но вот не написал и заслужил упрек.

И много, много еще будет упреков. И с той, и с другой стороны. Стерплю. Иногда только буду вспоминать американскую свинотушенку.

Да, совсем забыл, в том самом магазине, где купил львенка, я увидел и обрадовался — паровоз. Точно такой японский паровоз мне показывал много лет тому назад в Переделкине Корней Иванович Чуковский. Он сиял: «Поглядите, какой он симпатичный. А как гудит... Как в старое доброе время. Как в моем детстве. Послушайте. Закройте глаза и послушайте, точно из далекого леса доносится...»

Я не купил паровоз, деньги потратил на львенка и еще на маленькую коалу, вместо постаревшей, похудевшейся, сыплющей опилками в машине моих милых хозяев. А рядом с паровозом стояла жирафа, выше меня ростом, стоимость 1800 швейцарских франков. В переводе на французские — 3700, столько, сколько заплатил Вова за свою «Симку», пришедшую на смену отказавшей «Ауди».

5

У Женевы своя длинная и в меру кровавая история. Не будем в нее углубляться. В двух словах — это некие аллоборги (не путать с бробдиньгегами!), покоренные Юлием Цезарем, потом бесконечные войны, герцоги Савойские, прославивший на весь мир Женеву Кальвин, опять войны, междоусобицы, Наполеон и, наконец, знаменитая Женевская конвенция 1864 года — «Международное соглашение для облегчения участи раненых и больных воинов во время войны».

Какая прелесть эти конвенции — не могу не восторгаться! В красивых залах с летающими по потолкам

нимфами и амурчиками собираются маститые старцы, политики, ученые, юристы и, поговорив месяца два-три, постановляют, что госпиталя, раненые, врачи, сестры и даже бухгалтеры и истопники госпиталей нейтральны и что их пальцем тронуть нельзя. Насколько скрупулезно выполнялось это в последующих войнах, не берусь судить, знаю только, что немцы в эту войну плевали на все Красные Кресты и нещадно бомбили наши эшелоны с ранеными. Впрочем, возможно, они ничего и не нарушали, так как Сталин тоже плевал на все Красные Кресты с Женевской конвенцией вкуче. От этого больше всего страдали наши раненые и военнопленные, но последних он вообще за людей не считал — предатели и всё...

И все же в прежних войнах (XIX века, допустим) с чем-то считались. Устраивали перемирия для выноса раненых, хоронили тела противника (в Сталинграде немецкие кресты были снесены на следующий же день), даже шпионов расстреливали с воинскими почестями под барабанный бой (в русско-японскую войну японское командование под Порт-Артуром в специальном донесении русскому командованию сообщало о достойном поведении лазутчика такого-то, отдавая должное его храбрости). В франко-прусскую войну гарнизон французской крепости Бельфор, оборонявшейся три с половиной месяца, после капитуляции разрешено было покинуть крепость в количестве 13000 человек со всем личным оружием и легкой артиллерией. За проявленный героизм, как было отмечено в акте о капитуляции. (А мы в Сталинграде отбирали у пленных всё, в первую очередь часы и самописки. Впрочем, они с охотой отдавали их сами, не бери у них только фотографий. Я и не брал, часы же раздавал нахлынувшим в Сталинград журналистам и газетчикам...)

Год тому назад мы ехали ночью через перевалы Юры по обледенелым серпантинам горной дороги в

эту самую Женеву встречать Володю Буковского. Утром в аэропорту толкались среди журналистов — никто ничего не знал, аэродромное начальство темнило. Приземлился московский самолет, Володи в нем не оказалось. Кто-то сказал о Цюрихе, не туда ли? Засуетились. Рванули в Цюрих. Опоздали. Уже обменяли. А на следующее утро, в битком набитом зале, под шелк сотен блицев, он стоял спокойный, усталый, худой, коротко стриженный и на прекрасном английском языке (в тюрьме выучил) приветствовал собравшихся. Сутки тому назад он был еще в наручниках...

Сейчас, попадая на женевский аэродром, я всегда вспоминаю Володю, то состояние радости и напряжения, в котором мы находились, телефонные переговоры, слушание последних известий — не передадут ли что нового... Это был один из счастливейших дней. И Женева, в которую мы мчались ночью по обледенелым дорогам, стала для меня символом чего-то радостного, светлого.

На этот раз в Женеву я не прилетел, привез меня сюда другой Володя — мой верный друг и водитель по дорогам Швейцарии. И поселился я в доме на самой французской границе.

Три слова о доме. О хозяевах ни звука. Не разрешили, застеснялись. Ладно, не буду. Тем более, что, как выяснилось, о живых друзьях лучше не писать — одни пугаются, другие обижаются, третьи вообще непонятно что. Словом, не буду.

Много в жизни я встречал милых домов. В один из них, московский, я свалился и жил припеваючи (и попиваючи) вместе с четырьмя основными жильцами — папой, мамой и двумя сыновьями — на площади в 12 метров довольно долгое время. Жили друг у друга на головах, но так как это было сразу же после войны, то казалось еще просторно, только курить надо было в коридоре. Другой дом — тоже четверо плюс няня, — был побольше: три больших и одна маленькая комната

— по московским понятиям, хоромы. Было шумно, беспорядочно — никогда ничего нельзя было найти, полно гостей, московских и иногородних, непрекращающиеся ремонты, а в общем хорошо. И врос я в этот дом и полюбил его.

Дом, в который я сейчас попал, сама тишина. Тишина в сочетании с комфортом (в ванной под головой даже специальная подушечка!) и истинно русским гостеприимством, хотя сам хозяин — итальянец (в войну югославский партизан, он из Триеста), а дети (живут теперь отдельно) уже швейцарцы. Мама же русская, настоящая русская со всеми... Но виноват, не буду, я только о доме.

В главной, большой комнате с двумя раздвижными стеклянными стенами в сад — камин! О камины... Во всех приличных домах здесь камины. Англичане просто не мыслят себе жизни без камина (запрещение их в Лондоне — борьба со смогом — и замена электрическими — удар в самое английское сердце). Тот, перед которым я сижу по вечерам сейчас, первый в моей жизни. Он встречал нас, полыхающий и затухающий, уютно потрескивающий, источающий запах сосны, буквально через несколько дней после нашего приезда в Швейцарию. Сидя перед ним, обладаемые жаром, мы наполовину были еще дома, в Киеве, Москве, думали об оставшихся...

Нет, я соврал. Первый камин в моей жизни был у Ивана Сергеевича Соколова-Микитова в деревенском, лесном домике в Карачарове. Он любил его разжигать и, устроившись в мягком кресле, попыхивая трубкой, неторопливо вспоминал о чем-то, чего другие не расскажут: о константинопольских кабаках, афонских скитах, дружбе с Куприным и Сашей Черным, бомбардировщике «Илье Муромце», на котором летал в первую мировую войну, об охоте на медведей и даже о встрече с товарищем Сталиным.

В нашей киевской довоенной квартире в столовой тоже был камин, но трубы были безнадежно забиты, и внутри его стояли почему-то банки с вареньем и бутылки с вишневой наливкой.

В комнате, предоставленной мне для жизни и трудов, жил когда-то дедушка, герой обороны Порт-Артура. От него осталось — на стене шишкинская стоящая одиноко на севере диком сосна, грамота Архиерейского Синода Православной Церкви Заграницей, выданная Александру Александровичу Солонскому «в богоспасаемом граде Нью-Йорке, в лето от Рождества Христова 1973-е, мая 12/25 дня» и четыре тома «Летописи войны с Японией, в лето от Рождества Христова 1904-е, от сотворения мира 7412-е». Из чего, подсчитав, понял, что имеем счастье жить в 7488-м году и что через каких-нибудь двенадцать лет грешному нашему шарикуну минет семь с половиной тысяч лет! Авось, доживем...

По утрам мы пьем какао и кофе со сливками, любуясь прыгающими по снегу (снег, снег, первый за три с половиной года снег!) синичками и снегирями, по вечерам чай с лимоном и божественной итальянской колбасой мортаделло. Всё это под звуки Вивальди или кого-нибудь не менее прекрасного. (К слову, все швейцарские дороги у меня ассоциируются с Моцартом, Бахом, Генделем: Володя — любитель классики, одной рукой правит, другой втыкает кассеты.)

Мортаделло! Под эту нежную, розовую с белыми квадратиками колбасу мы выпили свои сто граммов в честь тридцатипятилетия Сталинграда. Вечером, затянувшимся далеко за полночь, 2 февраля. На этот раз была Пятая симфония Чайковского...

Я верю в мистику и во всё необъяснимое. Сюда я отношу и то, что строки, посвященные моим фронтовым друзьям, писались именно второго февраля, а вечером того же дня хозяин подарил мне Пятую симфонию («вы говорили, что любите»), не зная, что она

имеет прямое отношение к «Окопам Сталинграда» и к фильму «Солдаты». Керженцев и Фарбер слушают ее на передовой, доносящейся с правого берега. В фильме это одна из лучших сцен Смоктуновского и Сафонова.

В доме моем всегда чистота и порядок. Даже ремонт, закончившийся буквально полчаса тому назад, не внес ни грязи, ни беспорядка. Советскому человеку этого не понять. Длился ремонт четыре дня. Три парня в белоснежных комбинезонах, как ангелы, расстелив по полу и покрыв мебель пластиком (а у входа в сад газеты приклеили к полу скотчем), беззвучно заменили все обои и покрасили двери и окна. Уходя по вечерам, они оставляли комнату стерильно чистой, высосав всю пыль и мусор пылесосом. Чудеса! Где четвертинки, поллитровки, а помыловарить, а покупоросить, где месяц полного развала и навеки погибших полов? Эти ребята — неаполитанец, тунисец и швейцарец — после себя оставили только две крохотные капельки краски на стекле...

Москвич, москвичка! Киевлянин! Ленинградец! Слышите ли вы меня? Две крохотные, белые капельки на стекле. От масляной краски...

Думаю, что все мои рассказы о корридах, Парижах и даже берлинской Стене блекнут перед этим сообщением. О том вы все знали и прежде, об этом же вы узнали только сейчас, от меня. И ахнули! Не верите... И я как-то не верю. Может, это был сон? Нет, щупаю обои — новые. И два крохотных пятнышка на стекле.

6

Случилось так, что всё написанное мной писалось не дома. Малеевка, Коктебель, Ялта, Дубулты, Комарово (всё Дома творчества — творил-таки!). Здесь, на

Западе, уютный, среди лесов Марлотт, Фонтенбло, Норвегия, сейчас Женева.

Вокруг меня книги. (Их — стыдно признаться — тоже читаешь больше в больницах или на отдыхе, дома телефон, дела, всякая мура.) Передо мной в шкафу полный Брокгауз и Эфрон, откуда и черпаю сведения. (Знал ли ты, читатель, что был на свете Наполеон IV, сын третьего, погибший в бою с зулусами в возрасте двадцати трех лет? Я не знал, теперь знаю.) На столике, рядом с кроватью, «Война и мир» и один из томов «Русско-Японской войны» — пушки с громадными колесами, солдаты в черных, мохнатых папах — «переправа японской пехоты через реку Ялу под огнем русских батарей», крейсер I-го ранга «Громобой» с черным, как сажа, дымом из обеих труб, «Причащение Святых Таин на валах Порт-Артура» — по фотографии рисовал Н. Петров.

Вспоминаю «Ниву», сталинградскую землянку...

Книги не вмещаются в шкафах, стоят стопками (полки, полки вместо ремонта!), рискуя обрушиться тебе на голову. Я роюсь, перебираю их и нахожу массу интересного.

Алданов и Распутин... Обоих никогда не читал.

Об эмигрантской литературе мы в Союзе вообще ничего не знали. Куприн, Бунин, Тэффи, Саша Черный, кое-кто слышал о Зайцеве, Шмелеве, Мережковском и Гиппиус. Вот и всё. Алданов — имя совсем незнакомое, хотя, кажется, до революции печатался в России. Когда написано им «Самоубийство», не знаю. Сейчас вышло вторым изданием. Прочел не отрываясь. Книга о русской интеллигенции начала века. Кончается первыми годами революции. Есть и Ленин, и Крупская. Описаны без всякой злобы, с ясным и четким пониманием того, что Ленин нес в себе. Есть и Сталин. Но главные герои — это люди, шедшие с революцией и отвернувшиеся от нее, разочаровавшиеся. Написана книга прекрасно, интеллигентным, умным

человеком, о котором пишу, ничего о нем не зная. Чудовищно! Я, считающий себя русским писателем, ничего не знаю о другом русском писателе. Кожевникова знаю, Кочетова и Софронова знаю, а о М. Алданове даже не слышал.

О Валентине Распутине слышал давно. Еще в Союзе. Хвалили все. Столкнулся же с ним только сейчас, здесь. И сражен...

«Живи и помни» — книга невероятной тяжести, безжалостная к читателю, бесконечно горькая, но прекрасная. Давно я не читал таких книг, а может быть, *такой* вообще не читал.

Я несколько раз откладывал книгу. Не потому, что не интересно, а потому, что сил не хватало. Ну, пожалей меня, Распутин, не наваливай на меня столько, пожалей.

Всё страшно в этой книге — и человеческое одиночество, и пронизывающий всю жизнь героев обман, и страх, и воющий вместе с волком Андрей, и то, что никакого будущего или, наоборот, надвигающееся, пугающее. И сама любовь, глубокая, настоящая любовь Настёны и то, что ее надо скрывать. И сам конец страшен, когда Настёна плывет по реке и слышит за собой в темноте погоню, весла чьей-то лодки. Выслеживают, выслеживают...

Читал с каким-то ужасом, тоской, вконец меня замучил Распутин, и в то же время с великой радостью. Есть еще порох в пороховницах! Смотрю на простое, хорошее, с человеческими глазами лицо Распутина в начале книги, и так хочется увидеть его живым. Увидеть и крепко пожать руку — молодец! И ведь чуть-чуть не увидел. В 76-м году во Франкфурте, на книжной ярмарке. Оба мы там были. Но не столкнулись.

Книг его на стендах не было. И Трифонова, приехавшего вместе с ним, не было. Я даже не могу вспомнить, что же было. Красивые издания «Авроры»,

громадный портрет Брежнева, а вот в смысле «почитать» что-то не припомню. А книгу Распутина все же нашел. Рядом, в павильоне какого-то ФРГшного издательства. А на обложке изображен был *тот* Распутин, бородатый... Почему? Чтоб бойчее раскупали?

Осенью прошлого года я выступал перед студентами Кельнского университета. Рассказывал о современной, советской литературе. Потом профессор Казак, организатор всего этого дела, с улыбкой сказал: «Ко мне подходят студенты и с удивлением говорят: послушаешь Некрасова и видишь, что в России с литературой вовсе не так уж плохо, даже хорошо. А нам говорили...»

Да, чего-то я не учел. Не учел просто, что о нашей литературе вообще мало знают. Сурков, Георгий Марков, Михаил Алексеев — что говорят немецкому студенту эти имена? Ничего. А я, рассказывая о Шукшине или Сёмине, о тех, власть предрержащих, и не упоминал. Хотелось говорить о хорошей литературе, а не о тех, кому хорошо в литературе. Что ж, теперь учён, в следующий раз расскажу и об этих, последних, которых никто не читает...

7

Кто не помнит неунывающего поэта Ляпис-Трубецкого из «Двенадцати стульев», его бессмертного Гаврилу? «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». Зайца, как помните, пришлось убрать — не сезон, бекаса тоже, по той же причине, и всё кончилось тем, что Гаврила птицу подстрелил.

Очевидно, этот незабываемый, любимый образ и натолкнул на мысль окрестить Гелия Гаврилой. Он тоже был не прочь кое-что подстрелить, а потом рассказать об этом. К тому времени, как я с ним познакомился, иначе, как Гаврилой, его никто не называл. К тому же — Гелий — язык как-то не поворачивался называть так уважаемого человека.

Кроме охоты и охотничьих рассказов, Гаврила, он же Гелий Иванович Снегирев, любил и веселое общество, пропустить шкалик-другой. Пишу в прошедшем времени, так как неожиданно (и с чего бы это?) сердце вдруг зашало, запротестовало, и образ жизни пришлось чуть изменить. Но в те далекие дни нашего первого знакомства — а было это лет пятнадцать назад — он беззаботно принимал, и не один шкалик, и был веселым, красивым, здоровым парубком, уже тогда членом Союза писателей, к тому же — маленьким, но начальством. Должность его называлась — заведующий сценарным отделом Киевской студии хроникально-документальных фильмов. Мы, авторы, должны были к нему прислушиваться и выполнять его указания. Звучали они приблизительно так:

— Юрка с Максом топают в «Гастроном». Как минимум, два пузырька. Закусь — сами знаете. Хлеба, буханку украинского, думаю, хватит. Пиво здесь, в буфете. Сервировку беру на себя. Одна нога здесь, другая там. Выполняйте!

Через полчаса, а то и раньше, Юрка с Максом возвращались, двери сценарного отдела наглухо закрывались, из ящиков письменного стола вынимались тарелочки, вилочки и тому подобное, и собравшиеся приступали к обсуждению сценария. Было шумно и весело. Иногда звонил телефон, и все по очереди, соперничая в остроумии, сообщали кому-то в трубку, что товарища Снегирева вызвали в ЦК и вернется он не раньше шести вечера. Как ни странно, но сценарии

после этих обсуждений выходили не хуже остальных, а фильмы иногда и лучше.

О прекрасное это время! Обсуждение сценариев (или чего-то уже другого) после окончания рабочего дня продолжалось на квартире у Гаврилы (или кого-нибудь другого) и заканчивалось далеко за полночь.

Кроме того, у Гаврилы была дача в Ворзеле (потом он ее, увы, продал), и, так как большинство авторов, как и сам хозяин, были поклонниками природы и свежего воздуха, обсуждения часто проводились на даче. В перерывах между обсуждениями, заседаниями, собраниями и прочими партбюро (и членом его он тоже был) Гаврила писал. Иногда читал вслух. Все смеялись. Бывало, и печатался. Однажды даже в «Новом мире». Это было событием. Попасть в эту святая святых не всякому было дано. Во всяком случае, никому из украинских китов, в том числе и Вадиму Собко, Гаврилиному дядюшке, такое счастье не выпадало. Гавриле выпало. Напечататься у Твардовского было почище какого-нибудь «Знака почета» за успехи в деле развития украинской советской литературы.

Одним словом, жизнь текла себе помаленьку со своими заботами и волнениями, не переходившими пределы нормы. Текла себе, текла, пока постепенно, исподволь, не стало что-то меняться. Симпатичного, доброго директора убрали, сценарии новому начальству стали не нравиться, а заодно и их авторы. И пришлось Гавриле расстаться с отдельным кабинетом и заняться режиссурой. Занялся, выпускал не ахти какие, но выходившие все же на экран ленты о сельских тружениках и передовиках производства. Как будто уладилось. Но в начале 74-го года и это кончилось. Как отрезало. Отовсюду, откуда было возможно, исключили. Из партии, из Союза писателей, Союза кинематографистов. С работы уволили. К тому же, бросила жена. Взвесила все «за» и «против» и ушла,

забрав с собой 10-летнего Филиппа. А в Филиппе Гаврилы души не чаял.

Что было всему этому причиной? Не по той дорожке пошел! Не тех друзей выбрал! Всё это весьма выразительно доказал Гелию Ивановичу его родной дядюшка Вадим Николаевич Собко, писатель более чем посредственный, но влиятельный, член всех президиумов и парткомов, человек ушлый и знающий, что к чему. Гелий Иванович не внял. С того и пошло.

Непосредственным толчком послужил визит Гаврилы ко мне во время обыска. Считается, что в тяжелую минуту всем надо быть вместе. Власти дружеских этих порывов не понимают, не любят и за них наказывают. На следующий же день у Гаврилы был «свой собственный» обыск, нашли какую-то ерунду, но этого было достаточно. Дорога не та, и друзья не те... Ясно и просто.

Расстались мы с Гаврилой 12 сентября 1974 года на Бориспольском аэродроме. Сжали друг друга, расцеловались, и больше я его не видел.

С тех пор прошло три с половиной года. И что-то за эти годы с Гаврилой произошло. Борцом он никогда не был, окружающую действительность осуждал не больше других (может, чуть громче, голос у него актерский, хорошо поставленный), в диссиденты не лез, короткометражки его о доярках протеста у начальства не вызывали. И вдруг...

«Мама моя, мама...», конечно же, особой радости властям доставить не могла. Но терпели. Терпечь увірвався — прекрасное украинское выражение — после «клеветнического» письма советскому правительству. Это уже ни в какие ворота не лезло. Наглость какая! Подождали немного, какая на это реакция будет, — потом пришли, порылись в книгах и увели. Куда, до сих пор неизвестно. Сведений о нем никаких. Суда еще не было.

Гляжу на фотографию Геляши. В клетчатой ковбоекке. Точно такая же у меня, вместе покупали. Лицо красивое, спокойное, следов болезни не видно. А он уже инвалид 2-й группы. Сердце ни к чёрту, со зрением плохо, почти не видит.

В конце прошлого года столкнулся я на римском аэродроме с друзьями Гаврилы по студии, с его сослуживцами. Видали его за месяц до ареста. После письма своего стал спокойней, уверенней. Ни о каком Израиле и думать не хотел, хотя в кармане вызов — новая жена еврейка. «Никуда не сдвинусь. Вот так вот, не сдвинусь...» И мне в последних письмах: «Решение принял. И бесповоротно. Приму удар. Снесу».

Снесешь ли, Геляша? Пятьдесят лет не двадцать. И здоровье не то. Помню, как сказал мне, выйдя из тюрьмы, Иван Дзюба: «Тюрьму может вынести только тот, кто умеет по-настоящему ненавидеть». Наука ненависти — не твоя наука. Но, судя по письмам твоим — Брежневу, Картеру, — дошел до точки.

Перечитал сейчас Кузнецова, и, хотя читал и раньше, всё стало как-то особенно ясно. Одиночка, барак, карцер... Следователи, надзиратели, конвоиры... Уголовники, педерасты, онанисты... Нелегкий ты избрал путь в свои пятьдесят лет, Гаврила. Но избрал сам, никто тебя не толкал. Наоборот, отталкивали. Дай Бог тебе сил. Дай Бог...

А нам веры в то, что и наши усилия к чему-то могут привести.

Не меняю ни строчки в уже написанном. Но жизнь вторгается в него.

Факты известны...

Первого апреля Снегирев в полубессознательном состоянии, с парализованными ногами, препровождается из тюремной больницы в городскую, «Октябрьскую». Его посещает жена. В тот же день (в тот же!) в газете «Радянська Україна» появляется за его под-

письму «покаянное» письмо. Всё понял, во всем ошибался, благодарит «органы» за то, что помогли ему понять! И за хорошее лечение... А Некрасов и генерал Григоренко — негодяи и сионисты. Во всем они виноваты...

Что можно к этому добавить? Да ничего... И так понятно...

Не так уж важно, кто из следователей и какого ранга составил это письмо. Ясна и цель его — раздавить человека, оплевать...

Удалось ли?

Сведения из Киева не доходят. Просачиваются чудом. Стена... Все та же Стена.

Известно только, что ни по ту, ни по сю сторону Стены не нашлось никого, кто поверил бы в искренность этого письма... Григоренко же и Некрасов всеми возможными средствами пытались дать понять Гелию (и, кажется, удачно), что они-то, во всяком случае, не верят и знают цену всей этой подлости. Именно подлости. Не нахожу, да и не ищу другого — это самое ёмкое, самое всеохватывающее слово. Подлость!

А дальше?

Дальше один только вопрос — о жизни...

(Все нижеищее — без изменения, как было до написания этих дополнительно вставленных строк.)

Все-таки это поразительно. И в какой-то степени знаменательно. Люди, всю жизнь прожившие в советских условиях, привыкшие к ним, притесавшиеся, нажитым годами скептицизмом и долей цинизма оправдывавшие неоправдываемое (плетью обуха не перешибешь!), вдруг взрываются, собственными руками ломают эту устоявшуюся, тошную, но такую же, как у всех, жизнь и идут, если не на плаху, то по направлению к ней...

Пошел и Руденко. Я знаю Миколу много лет. Тридцать, не меньше. Начинали почти вместе. И оба успешно. Фронтовики, молодые — нам дорога! И печатали его, и во всякие президиумы-секретариаты избирали, даже секретарем партбюро одно время был. И не в самое легкое время — когда космополитов надо было уничтожать.

Думаю, что именно тогда в нем, преуспевающем писателе и коммунисте, началось какое-то первое брожение. Дальше круче, крепче. Постепенно лишился всех постов, перестали издавать. Знакомо... Уже здесь, на Западе, узнал я, что возглавил он Хельсинкскую Группу на Украине... И забыли всё — бывлые заслуги, книги, то, что воевал неплохо, раненный-перераненный. Семь лет! И три года потом ссылки. Щоб не був таким розумним! — как говорят у нас, на Украине. А ведь шепни в подходящую минуту, за рюмочкой водки, вожди наши, писательские, Козаченко или Збанацкий, кому-нибудь повлиятельнее: «Не надо! Свой хлопец! И воевал хорошо. Не надо сажать», — и был бы порядок. И шепни Собко о своем племяннике, тоже сошло бы... Но всё горе в том, что хлопцы-то уже не свои... И на кормушку вашу им наплевать. Обрыдла...

А меня тут, на Западе, спрашивают — многие ли у вас в Союзе верят в коммунизм? Никто — отвечаю. Ни один человек. Но терпят, голосуют. И вот через шестьдесят лет — сюрпризик! — стали голосовать против! Единицы? Пока единицы. Но во весь голос...

Мишель, муж дочери моих милых хозяев, в юные годы отказался взять в руки винтовку. По убеждению. И был наказан. Отсидел восемь месяцев. Рассказывает, что было не сладко. Кормили плохо — суп, каша, какие-то овощи, мясо раз в неделю. Камера на двоих. Параша... Это было пятнадцать лет назад. Сейчас за это же самое сидят дольше. Но зато телевизоры.

Во всех книжных магазинах Женевы продается книга «Женевские тюрьмы». Их история, фотографии, очень подробные планы.

Это Швейцария.

Французские тюрьмы. Журнал «Пари-матч» за 10 февраля 1978 года № 1498. Статья «Наши тюрьмы». Много фотографий. На одной известный марсельский гангстер Герини. Полуголый, стоит спиной к нам, упершись руками в вертикальную, толстую железобетонную решетку. Слева стол, покрытый скатертью. Много книг, магнитофон. Над столом зеркало с полочкой. На стуле пижама в мелкую клеточку. Перед столом, ближе к нам, шкаф. Справа койка — простыни, одеяло. На потолке лампочка с затейливым абажуром. Ни дать, ни взять, комната в студенческом общежитии. Телевизора вроде нет. Это тюрьма Пуасси.

Жак Мерен, бандит №1, приговоренный к двадцати годам, отбывал их в парижской тюрьме Санте. Камера 3,6 метра на 1,8. Нарисовал и дал журналистам план ее. Койка, стул, стол, шкаф, вделанный в стену, рукомойник, в углу унитаз. Жалуется, что, прожив в такой камере пять-шесть лет, можно стать зверем. Тем не менее умудрился в ней написать и издать (почти Кузнецов!) роман «Инстинкт смерти».

В Maison d'arrêts — арестных домах — их во Франции 134 — камеры на 4 и на 16 человек. Койки в два яруса. Простыни есть, скатертей нет. В камере на 16 человек — три стола. За одним сидит парень, что-то пишет. Перед ним, насколько я могу понять, стакан вина. Лампочка одна на всю камеру, 25 ватт, плохо. Счастливчики, попавшие в повара, библиотекари, счетоводы («придурки»), зарабатывают по 9 франков в день — 270 франков в месяц. (По официальному курсу, 45 рублей, средняя наша пенсия, и в шесть с половиной раз больше, чем получает у нас солдат.)

О питании в статье не говорится. Арестанты жалуются на тесноту, отсутствие свежего воздуха, эту

самую лампочку в 25 ватт, и ни слова о еде. Очевидно, терпимо, иначе сказали бы.

К слову, о питании.

Сейчас в Швейцарии разгулялась непогода. Валит снег, в горах лавины. Нам с Вовой ехать надо в Беллинзону (Итальянская Швейцария), перевалы закрыты. И вот, будь оно трижды неладно, надо ехать в объезд, через Милан, по туннелю под Монбланом. Чёрт знает что, через Францию, Италию... Но еще хуже козочкам в горах. Им нечего есть. И вот одна женевская девочка собрала по булочным и кафе хлеба, сдобы и круасанов (одну тонну!) и, пользуясь услугами других добрых людей (бесплатно ей дали машины и даже вертолет), сбросила всё это, плюс 250 килограмм соли, бедным голодным козочкам. Ее фотографию я видел в газете «La Suisse».

А сегодня в этой же газете прочел, что благородный почин подхвачен. Летчик «Эр-гласье» рассказывает про операцию «SOS — козочки!», про воздушный мост в самые недоступные места. Всё идет отлично, только козочки отворачиваются от сена — пахнет человеком.

(Год или два тому назад из-за рано наступившей зимы не успели улететь на юг ласточки. Бог его знает, каким способом их, бедняжек, поймали, погрузили в самолет и доставили в Кению — летайте на здоровье...)

— Скажите, вам приходилось когда-нибудь ездить на велосипеде из Лозанны в Женеву?

С таким вопросом обратилась моя мама к своей сверстнице, бабушке Володи Войновича.

Они обе уютно примостились на кровати, пока в соседней комнате шли соответствующие приготовления — Володя привез меня и маму на денек из Коктебеля в Керчь, где жили тогда его родители.

Володина бабушка, всю жизнь прожившая в маленьком еврейском местечке, человек тихий, не болтливый, но большая любительница русских пословиц и поговорок, слушала маму очень внимательно. На вопрос о Женеве и велосипеде покачала только головой:

— Так-так, сказал бедняк, — тихо произнесла она и даже не улыбнулась. Это была ее любимая поговорка, всегда как-то оказывавшаяся к месту.

Мама продолжала свой рассказ о Швейцарии.

Всю свою молодость мама прожила в Швейцарии. Школа, университет, замужество, рождение первого сына — Коли. Жили в Лозанне, любили ее, привыкли к ней...

Много-много лет спустя, после войны уже, в Киеве:

— Сегодня бэллочкины именины, ты не забыл?

Пойди поищи торт. Нигде нет. Я обегала всю Лозанну, все кондитерские, пустые полки.

Или:

— Хотела купить к чаю печенье, зашла в гастроном, купила, подошла к кассе, смотрю, а в сакошке ни сантимата.

Сакошка, от французского *sacoche* — сумка.

Мама любила Швейцарию. Знала ее. Ходила в горы, рвала эдельвейсы, а это не так просто, они обычно в самых недоступных местах. Ездила, как видим, на велосипеде в Женеву. Любила вспоминать ее.

В самые последние дни своей жизни всё уговаривала молодого, ловкого массажиста, приходившего делать ей массаж после перелома ноги, съездить в Швейцарию. А однажды, когда он пропустил какой-то сеанс, с уверенностью сказала: «Ага, послушался меня, поехал-таки в Швейцарию».

Довоенная наша киевская квартира вся проникнута была духом Швейцарии. Тот самый Шильонский замок, кочевавший со стенки на стенку, виды Лаго-Маджоре — озеро, островок, вдали горы, — тоже висящие у меня сейчас на стенке, пресс-папье «Люцернский лев» — *Helvetiorum fideli ac virtuti* — верным гельветам, погибшим, защищая Тюильри в 1792 г. (не знали, бедняжки, что защищают реакцию), куча толстенных альбомов с открытками, коробки из-под шоколада с выцветшими, глянцевыми, коричневыми любительскими фотографиями — бабушка с дочерьми где-то в горах, с альпенштоками в руках, какие-то студенты в корпорантских каскетках...

Весь этот открыточно-сувенирный дух вместе с рассказами родителей о походах в горы, восходах солнца на Риги-Кульм и вдохновили на оду «Швейцария чудесная страна».

— А вы знаете, почему Некрасов оказался в Швейцарии? — спросил одного русского эмигранта в Афинах ни более, ни менее, как Лауреат Ленинской и Го-

сударственных премий, Председатель правления Союза писателей РСФСР, Депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, Действительный член Академии педагогических наук, выдающийся писатель Сергей Владимирович Михалков. — А потому что у него в Женеве или Лозанне дядюшка-миллионер. Вот он и приехал, чтоб дожидаться наследства.

Всё верно. Действительно, в Лозанне спокон веков жил вместе со своей женой, маминой сестрой, профессор геологии Лозаннского университета Николай Алексеевич Ульянов (упаси Бог, спросить, не родственник ли), а для меня дядя Коля.

Жил в маленькой, загроможденной от пола до потолка книгами двухкомнатной квартире на Монрепо, 22. Совсем один — тетя Вера умерла лет 15 тому назад. И действительно, я приехал по его приглашению на три месяца, как значилось в моем паспорте. И действительно, дождался наследства. Через год после дядиной смерти неизвестный молодой человек привез мне в Париж довольно солидную картонку то ли из-под пива, то ли из-под сгущенного молока. В ней оказались письма. С швейцарскими и русскими марками — Вильгельм Телль на первых, и скучные, с двуглавым орлом вторые — романовской серии с императорами тогда еще не было. Внутри конвертов изящные, несегодняшние почерка. Содержание тоже в общем не совсем сегодняшнее. До сих пор я к этим письмам не прикасался. Только рассортировал. Как-то боязно окунаться в чужую жизнь, хотя и родительскую. А может, именно и поэтому.

И все же три письма я приведу. Дословно. Первому из них уже сто лет. Письмо моего дедушки к моей бабушке:

*Дорогая кузина моя, Алина Антоновна!
Согласны ли Вы сделаться моей женой?*

Ни роскоши, ни высокого положения общественного не могу Вам дать в случае Вашего согласия.

Взамен этого: непритворное, искреннее чувство глубокого к Вам расположения, известное материальное обеспечение, которое даст нам возможность жить не рискуя помереть с голоду.

Если Вы согласны, то не найдете ли удобным передать о моем предложении тетушке.

Во всяком случае, пишите мне в Харьков, так как я на днях буду там: хочу поступить в тамошний Ветеринарный институт.

Коли Вы письменно изъявите согласие, то я приеду к Вам. Жду ответа с нетерпением.

Целую Вас крепко (хотя бы по праву кузена).

Искренне любящий Вас

Николай Мотовилов.

1877 г.

Июля 4.

Самара.

Вот так сто лет тому назад делали предложения. И ждали письменного согласия в ответ на непритворное чувство глубокого расположения.

Насколько мне известно, бабушка с дедушкой жили дружно, с голоду не помирали, в каких-то симбирских поместьях, и только после дедушкиной смерти (умер он молодым, тридцати с чем-то лет, от туберкулеза) бабушка с тремя дочерьми уехала в Швейцарию. Не эмигрировала, а уехала, дав дворнику три рубля, чтоб он принес заграничные паспорта.

Второе письмо — отца к матери. Датировано 6 марта 1917 года. Через неделю после свержения самодержавия — так называлось это событие, которое мы ежегодно праздновали не помню до какого года.

Гор. Красноярск, 6 марта 1917.

Извиняюсь, что пишу на бланке банка — забыл купить бумаги.

Ну, как у вас в Киеве проходят события? Сюда донесся, между прочим, слух, что будто бы там, в Киеве, убита Мария Федоровна. Правда ли это?

Здесь, пока что все спокойно. К счастью, руководители левых партий достаточно благоразумны и сдерживают «зуд» партийной мелочи, которой очень хотелось бы внести смуту и беспорядки. Увы, психология большинства «товарищей» — типично рабская, лакейская: они в ярости готовы топтать всё то, что вчера они, вольно или невольно, признавали господствующим. По глупости своей внушают солдатам неподчинение дисциплине, что равносильно в данный момент измене государству и предательству своей родины и тех, кто сражается на фронте. Вообще левые партии производят удручающее впечатление своей крайней поверхностью, своим непониманием момента — я не говорю о представителях партий в центре: очевидно, там сидят люди благоразумные и понимают момент. Есть, однако, надежда, что левые партии, в особенности те, у которых довольно явственно проявляется пораженческая тенденция, останутся в меньшинстве и значительного влияния на события не окажут.

А как тебе нравится наш переворот? Он оригинален, единственный в истории по своей форме, по отсутствию крови, — она, правда, была, но немного. И жаль будет, если «товарищи» вовлекут Россию в кровавый круговорот.

Местные новости вряд-ли будут для тебя интересны — они похожи, вероятно, на новости других городов. Часть власти арестована, у жандармов на ж.-д. станции нашли два пулемета, из жандармского управления взяты бумаги, среди которых нашлись списки всех местных шпионов и провокаторов. Говорят,

что только среди жел.-дор. мастеровых и рабочих обнаружено около 200 шпионов и каждый-де из них получал по 75 рублей в месяц. Ожидается, что обнаружатся и «солидные» имена в этом милом списке. Дальше, обнаруживается, что штаб Иркутского военного округа был всецело немецкой шпионской организацией. Здесь еще старой властью арестован некий Блиц друг и приятель местного архирея, который сейчас очень либеральничает. Вообще темных дел и делишек вскроется не мало.

Пиши о киевских новостях. Что слышно о фронте, о боях? Ну, а как личные, домашние дела? Дети здоровы? Целуй их. Как реагирует Коля на все события? Привет Алине Антоновне.

Жму руку. П. Некрасов.

Папа не дожил до того, как «товарищи» вовлекли Россию в кровавый круговорот, — он умер летом того же года от разрыва сердца. Как реагировал Коля, мой старший брат, на те события, не знаю: он ненадолго пережил отца — погиб в Миргороде в 1919 году под шомполами красных. Было ему тогда 18 лет. Нашли у него французские книги и письма, приняли за шпиона и убили. Тело бросили в Псёл. Мать ездила на розыски, но безуспешно.

Третье письмо. Адресовано тете Вере, маминой сестре, в Лозанну. Подписано крупными печатными буквами «от Вики Некрасова». Как и два предыдущих, с твердыми знаками и ятями. Год 1920-й. Мне девять лет.

«Дорогая Вера, как живешь? Я поступил в гимназию Науменко. Там я подружился со многими мальчиками. Я еще в старшем-приготовительном классе. У нас идет война с 1-ым классом. В Киеве поляки и я каждый день смотрю на маршировку. Я в четверг 21-го мая по новому увидел большевитский аэроплан,

которово в тот же день подбили поляки. Я стал собирать коллекцию иностранных марок и если можешь то пришли мне пожалуйста, марок только не Русских.

Я теперь читаю очень интересную книгу про Индейцев «Черная птица и Орел снеговых гор». Приезжай к нам, целую тебя.

P. S. У нас на уроке «родововедения» то есть на уроке природы и опытов, было раз вот что: Нас повели в большую комнату уставленную: всякими птицами, скелетами, гнездами, шкафами, картинами с животными, партами и микроскопами. Нас разсадили по партам, дали бутылочки с длинными горлышками, налили водой поставили на керосинки. В воде подымались маленькие шарики. Потом вода забурчала и из бутылочек вышел пар.

Нам показали как из воды делается пар.

В. Н.

Вот эти три письма. Они не из дядюшкиного наследства, они сохранились в моем архиве, попав в него из Киева обманным путем, минуя таможду: такого рода документы по советским законам вывозить за пределы страны не дозволено. Законы странные, но строгие.

Молодость беспечна. Интересуется больше настоящим и будущим. К прошлому более или менее равнодушна. Равнодушен был и я. Теперь локти кусаю.

С кислым видом выполнял я в юные годы бабушкино поручение посетить в Москве ее подругу Елизавету Николаевну. Господи, тратить еще на каких-то старушек драгоценное московское время. А старушка эта была старой революционеркой, Е. Н. Ковальской, народоволкой, политкаторжанкой, хорошо знала Веру Засулич. Бог ты мой, сколько интересного она могла бы мне рассказать, прояви я хоть малейшее любо-

пытство. А я думал только о том, как бы повежливее отказать от второй чашки чая.

А дедушки, прадедушки? Один сидит на фотографии в каком-то теплом халате, в кресле, в саду, бородатый, скучный... Другой в генеральском мундире, с Анной на шее (уплыла в Торгсин) и уланской, что ли, каской в правой руке. Антон фон-Эрн, бабушкин отец, швед по национальности (очевидно, из Финляндии), генерал-майор. Смотрю сейчас на него, такого солидного, важного, и думаю — а с кем ты воевал, прадедушка, как и кому проигрывал в карты? — а тогда, в детстве, только стеснялся, что у меня такой предок, царский генерал...

Прабабушки? Луиза и Валерия Францевны Флориани. Обе итальянки. Из Венеции. Каким ветром занесло их в Россию? Обе красивые, в черных кружевах — ну и Бог с ними... И еще много, много было в альбомах разных господ в стоячих воротничках и дам в турнюрах и всяческих наколках. Альбомы показывались друзьям, те с интересом расспрашивали кто да кто, мне же это всё было, как теперь говорят, «до лампочки».

Пробел по части родословной заполнил в какой-то степени всё тот же дядя Коля. Сообщил даже, что род Мотовиловых ведет свое начало от каких-то Кобыл, от которых другой ветвью пошли и Романовы.

(Между прочим, прочитав записные книжки Анны Ахматовой — издание библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, — я с гордостью обнаружил, что мы находимся с ней в некоем дальнем родстве. Ее бабушка по материнской линии была Мотовиловой, сестрой отца Николая Мотовилова, того самого, в халате, борода того, скучного.)

С дядей Колей я уже раньше встречался. Он специально приезжал в Париж, когда я был там в 1962 году. Пригласил даже в ресторан, датский, на Елсей-

ских полях («очень неплохо кормят и недорого»), и мы распили с ним там замороженную в куске льда бутылочку водки.

В прошлом эсер. Левый. Принимал участие в московском восстании — специально ездил из Швейцарии. Вернувшись невредимым назад, на революцию, насколько я понял, наплевал и занялся геологией. Впрочем, кажется, занялся ею еще до революции... Увидел Монблан — влюбился в него, и стал Монблан с тех пор делом его жизни. Сколько я себя помню, он все составлял его карту. Успел ли закончить до своей смерти, так и не знаю...

И вот в один прекрасный сентябрьский день 1974 года мы с женой ввалились к нему в «холостяцкую» квартиру со всеми своими киевскими чемоданами. Третий наш спутник, мохнатая, глаз не видно, Джулька летела в это время в Париж, с друзьями, встретившими нас в Цюрихе. Последняя дядина телеграмма в Киев была категорична — «собака абсолютно исключается точка».

Сам он — волосы до плеч, глаза-колючки, брови почище брежневских — оказался добрым, подвижным и весьма словоохотливым — чуть-чуть не сказал «стариком», — нет, не годится, скажем лучше профессором. А поговорить не прочь был... За свои 93 года кое-что да повидал.

Беседы наши — в основном на кухне — проходили не всегда мирно. Монблан Монбланом, но эсеровский, бунтарский дух в нем не выветрился — за чашкой кофе с подсушенным хлебом он весьма темпераментно развивал свои политические идеи.

В основном поносил Америку. И такая она, и сякая, и погода стала неустойчива опять-таки из-за них — авионы (!) тоже они придумали, да-да, не смейся, слишком много всего сейчас в воздухе...

Как ни странно, но к Советскому Союзу, несмотря на свое эсерство, относился весьма терпимо. Более

того, хвалил (война, война!) — и тут-то начинались схватки боевые...

— Ну, как ты не понимаешь, Вика, что ваша страна...

— Чтó наша страна?

— Что, что? Из отсталой и полуграмотной...

— Стала передовой и грамотной?

— Да, грамотной!

— И передовой?

— Ну, не во всех областях, но в некоторых...

— Космических? Сам говорил, что всё в воздухе смешалось...

— Ну, говорил, говорил... Но я не о космосе, я о культуре...

Тут я начинал хохотать.

— Ну чего, что ты хохочешь? Ни в какой стране тиражи книг не доходят до таких размеров, как в вашей.

— Каких книг? Брежневских докладов?

— Не только брежневских. Недавно я вот в вашей «Литературной газете» читал, там приводились цифры тиражей классики.

— А «Правду» ты не читаешь, дядя Коля?

Дядя начинал кипятиться, краснеть.

— Брось этот дурацкий тон. Поверь мне, не будь у вас в стране КГБ...

Я не выдерживал.

— Дядя Коля, дорогой мой, жаль, что меня из партии исключили, а то дал бы тебе рекомендацию.

Тут он начинал топтать ногами.

— Дурак! Дурак! Дурак!

Всё в конце концов кончалось мирно, мы допивали свой кофе и отправлялись куда-нибудь на прогулку. Но не поддразнивать милого моего эсера я не мог — покупал свою любимую «Правду» в соседнем киоске и по вечерам, развернув, пытался читать вслух.

— Нет, нет, этого мне не надо. Газеты ваши я не люблю. А вот «Новый мир»...

— А где он? А? — не выдерживал я, и начиналась новая баталия.

Совсем недавно я опять вспомнил дядю Колю, слушая по телевидению беседу главного редактора «Правды» с итальянскими журналистами.

«Правда» — моя слабость (все надо мной смеются), поэтому пройти мимо этого эпизода никак не могу.

Дело было в Милане. А беседа в Москве. Началось всё с того, что показали, как Виктор Григорьевич Афанасьев выходит из своего дома («квартира 55 кв. метров» — сообщил комментатор), сел в длинную машину («не собственная, редакционная») и оказался, наконец, в собственном кабинете. Но не за столом, где он привык чувствовать себя хозяином, а почему-то на вращающемся кресле посреди кабинета.

Бедняжка, даже мне его стало жалко. Под обстрелом прожекторов, кинокамер и трех журналистов он так беспомощно крутился на своем кресле то туда, то сюда, и ноги в светлых, некрасивых туфлях носками внутрь, и локти прижаты, и глаза бегают, и улыбка робкая — как на угольях. А бородатые, элегантные итальянцы, нога за ногу, раскинулись в креслах, задают вопросы.

Скажу прямо — не те вопросы. Слишком общие, слишком привычные. Почему нет свободы, почему евреев туго выпускаете, ну и т. д., в том же духе... На них и ответить прожженному журналисту не так уж трудно. Александр Борисович Чаковский, например, не так давно в такой же беседе с парижскими журналистами на первый вопрос не так уж ловко, не так уж тонко, даже не умно, но все-таки как-то ответил. Растягивая свой ответ как можно дольше, не переставая сиять неплохими вставными зубами, он сравнивал буржуазную свободу со свободой подыматься на верхушку

Эйфелевой башни, когда не работают лифты... Ответил и победоносно улыбнулся — съели? Беседа, правда, кончилась печально. Подводя итоги, один из журналистов, кажется, редактор журнала «Point», развел руками и грустно, а не торжествующе, как А. Б., улыбнулся и сказал: «Диалог, увы, не получился. Вступать с вами в спор, как видно, не имеет никакого смысла. Что ж, остается только торговать...»

Итальянские мои журналисты, в общем-то, тоже оказались не на высоте. Виктор Григорьевич под конец даже немного воспрял духом. Городил чепуху — любимая народном газета, самая деликатная из всех (да-да, так и сказал!), никого никогда не обижает, передовицы пишутся лучшими журналистами страны — но, в общем, как-то все-таки выкрутился и под конец, как положено, поблагодарил итальянскую прессу и телевидение за внимание и, облегченно вздохнув, уставился куда-то в одну точку, поверх голов своих гостей.

Выкрутился! А можно было бы и пригвоздить. Меня не пригласили, я б уж справился. (На следующий день в миланской «Il Giornale» я попытался дело это как-то исправить.) Вопросы надо задавать не общие, а конкретные, ответу не поддающиеся. Новой конституцией и вмешательством во внутренние дела суверенного государства не отделаешься. Почему врете? Почему зверский террористический акт палестинцев, стоивший 37 жизней и 57 раненых, преподносите как бой между патриотами и регулярной израильской армией, в результате которого сгорел автобус? Почему ни слова о том, как Корвалан оказался на свободе? Почему Буковский — поджигатель войны? («Вчера президент Картер принял в Белом доме поджигателя войны, уголовного преступника Буковского» — «Правда».) Кто и по чьему приказу убил двух пассажиров южнокорейского самолета, «нарушившего советское воздушное пространство»? Почему вы так деликатно все эти довольно существенные вопросы обходите? Почему

обманываете своего читателя? За это он, думаете, вас и любит, что не тревожите его «дешевыми сенсациями» и радуете передовицами, написанными лучшими журналистами страны? Как на всё это отвечать, крутясь на своем стульчике?

Эх, зря не пригласили меня итальянцы. Наклеил бы я бородку, надел бы темные очки, и заерзал бы у меня мой тезка, как карась на сковородке...

Ну, вот и отвел душу...

Вернемся же в Лозанну.

Итак, дядя Коля делал карту Монблана. Взбирался на него (может, и не до самой вершины), спускался вниз, ездил в Париж к своему топографу, опять взбирался, и опять спускался, и всё сокрушался, что я не сопутствую ему в этих прогулках (хватит с меня Эльбруса — умный гору обойдет!). Но, кроме того, был он великим специалистом по туннелям, ледникам и плотинам, за что Франция наградила его «Почетным Легионом» — по-моему, за туннель под Монбланом. Как-то я даже попросил его надеть этот орден и вместе снялись с ним на балконе.

В мае прошлого года дядя Коля умер. В возрасте 96 лет. В последний раз я его видел в больнице, незадолго до смерти. («И чего это они меня сюда заперли. Вечно доктора что-нибудь придумают».) Такой же живой, но несколько менее подвижный, сидел в пижамке за столиком, перебирал какие-то книги. Кажется, уже больше перебирал, чем читал. На прощание сказал, что у него много еще есть о чем со мной поговорить. Увы, не вышло...

Ушел дядя Коля и вместе с ним всё прошлое моей семьи. Только письма остались, к которым боюсь пока прикасаться...

Как видим, дядя Коля капитализм осуждал. Хоть и в прошлом, но все же эсер, что поделаешь. Мама же моя, человек того же поколения, — эту общественную формацию, в которой прожила если не бóльшую, то, во всяком случае, значительную часть своей жизни, не осуждала. Впрочем, как и противоположную — если советскую власть можно считать социалистической. За исключением разве что отдельных ее представителей, как-то: маршала Жукова и Хрущева, которые отважились поднять руку на ее сына (первый запретил фильм «Солдаты», второй позволил себе выступить с критикой такой интересной и правдивой, по мнению матери, книги).

Ну, а сын? Что он может по поводу всего этого сказать? В частности, о капитализме?

Не будучи ни философом, ни экономистом, ни социологом, ни даже политиком (хотя с детства мы только политикой и живем), он, не углубляясь в теорию, в которой не очень-то силен, попытаться разобраться только в одном — можно ли жить при капитализме не только под мостом и не только в очереди за пособием?

Учесть надо еще и то, что рассказ будет вестись от имени человека, тридцать лет пробывшего в рядах коммунистической партии и ставшего ренегатом, — а посему отнести к прочитанному рекомендуется с определенной настороженностью.

Лет до десяти автор этих строк был монархистом, Белогвардейцем (по возрасту мог только болеть за них) и убеждений крайне религиозных. (К слову сказать, единственный во всей семье, к монархии и Белой гвардии относившейся весьма скептически и отнюдь не религиозной.) В виде протеста по отношению к существующей системе бегал по городу с карандашиком в кармане, приписывая «Ъ» на всех театральные афишах,

а дома рисовал карикатуры на Ленина и Троцкого, заколачивающих в гроб Россию... И вдруг в тринадцать лет перелом — вернулся как-то домой с отмороженными ушами — хоронил на Крещатике Ленина — а на следующий день, к великому изумлению родителей, повесил на стенку в столовой громадный портрет вождя. Даже конверты (и тогда любил переписываться) старательно обвел черной траурной рамкой, насмерть перепугав своих корреспондентов.

Как видим, во взглядах молодой человек не очень-то был устойчив.

Дальше шло более или менее нормально. Рос советским отроком, юношей, что-то понимал, чего-то нет. Гордился челюскинцами и папанинцами, великими перелетами, защитниками Мадрида (об этом ниже), лучшим в мире метро, МХАТом, даже излишне казавшимся официальным Маяковским (слушал его однажды — покорило рост, голос, покорило развязность). В институтские годы старательно искал образ советской архитектуры, самой демократичной, человеческой...

Тридцать седьмые годы прошли не то что мимо, но в общем-то не задев никого из семьи (если не считать дяди Сережи, дальнего, очень богатого и жадного миргородского родственника-врача, которого никто особенно не любил, очевидно, за скупость).

Почему никого из нашей семьи не тронули? Вот что кажется странным. Основания, как будто, были: и «бывшие», и дворяне, и родственники за границей, и всю жизнь переписка, даже посылки и деньги на Торгсин. Бабушка дважды ездила к своей дочери в Лозанну, правда, до посадок еще, в двадцатых годах... Активная, правдолюбивая тетка бушевала по поводу всех несправедливостей (и первых посадок в том числе), писала письма в ЦК, Крупской, Бонч-Бруевичу. И вот, никаких репрессий, пальцем не тронули.

Сейчас, много лет спустя, мне пришла в голову мысль: а не потому ли не трогали, что в уплотненной нашей квартире в одной из комнат всегда жили... чекисты? Сначала семья Уваровых, потом Кушников, последними, до самой войны, Сидельниковы — он сотрудник милиции. Чекисты чекистами, но мама всех их лечила — от простуды, гриппа, поносов, а бабушку, хоть и из Смольного и вроде помещицу, не любить просто нельзя было — любили и чекисты. Другого объяснения не нахожу. Годы-то были страшноватенькие...

Но вот прошла война, бывший монархист и белогвардеец стал членом партии, начал писать, вырвался в первую или во вторую там десятку и... Теперь вот, Париж. Через месяц минет четыре года...

А за спиной больше шестидесяти ввевшейся во все поры советской жизни. Сравнить есть с чем.

Но смотри же — слышу голоса — будь честен и объективен. Пусть старые накопившиеся обиды не заслонят чего-то главного, существенного. Или, наоборот, каких-то деталей, из которых-то и лепится главное.

Попытаюсь...

Что, в конце концов, нужно человеку? Быть сытым (иногда и пьяным, добавим мы, но не злоупотребляя), иметь работу (желательно хорошо оплачиваемую) и быть свободным.

Начнем с первого, самого банального.

Что больше всего поражает человека, приехавшего из зрелой, как теперь принято говорить, формации в дряхлую? Обилие! Всего! Мяса, яиц, помидоров, фруктов, автомобилей, бриллиантов, гвоздей, кафе, газет, книг, всех, в невероятных количествах и сногшибательного разнообразия, видов алкоголя...

Ну, а секс, порнография, нездоровый эротизм? — обязательнейший из вопросов. Есть! В Париже побольше, в Женеве поменьше. Но, как ни странно, кинотеатры,

где демонстрируются порнофильмы, на три четверти пусты, стриптизы посещают в основном туристы, а наш одиннадцатилетний Вадик (бабушка, когда мы проезжаем Пигаль, лихорадочно хватает его за плечо — «посмотри, какая красивая спортивная машина!») даже головы не поворачивает в сторону этих прекрасных цыпочек и саженных реклам с обнаженными дамами. А может, хитрит, негодяй?

Итак, обилие... Но это ж и есть мир потребления — слышу. Согласен. Возражение принимаю. Копнем глубже.

Нарисуем себе такую картину. Вы выходите, допустим, из дома Жолтовского на Смоленской площади, подходите к газетному киоску возле входа в метро и, отложив в сторону «Огонек», берете «Пари-матч» с фотографией Кристин Онассис и Сергея Каузова на обложке. Потом заходите в стекляшку «Олень» возле площади Восстания и с приятелем, не понижая голоса, листая журнал, обсуждаете детали этого не совсем банального брака.

На это мне умный, побывавший за границей и в меру критически настроенный советский интеллигент ответит:

— Виктор Платонович, это не вполне дозволенный прием. Не скоро еще житель дома Жолтовского сможет позволить себе такую роскошь, но поскольку, как пример, вы привели «Пари-Матч», а он у вас в руках, давайте полистаем его. Ну, что в нем? Свадьба Каролины Монакской — двадцать фотографий. Текст — в основном, кто во что одет, чем угощали, кто присутствовал из высшего света... Дальше. Чем развлекается на курорте предполагаемая невеста Чарльза, принца Уэлльского? Последние увлечения Элизабет Тэйлор или Жаклин Кеннеди... А «Иси-Пари»? Там уж просто кто с кем и, главное, как живет — желательно про коронованных особ и кинозвезд... Не оглушение

ли это? Причем массовое? У этих журналов самые большие тиражи...

Что ж, признаюсь, я сам их читаю. Стал ли я от этого глупее, не мне судить — возможно. Но наряду с массовым оглушением нет во Франции человека, который не читал бы (или не говорил бы, что читал, что тоже показательно) «ГУЛаг», книга Л. Плюща на французском языке вышла уже третьим тиражом, множество французов читали уже и Зиновьева...

К слову, о Солженицыне. Три сценки.

Одна в поезде Дувр-Лондон. Я впервые в Англии. И первый англичанин, которого я спокойно мог рассмотреть, усевшись в вагоне после сутолоки на пароходе Кале-Дувр, держал в руках и читал «Август четырнадцатого».

Вторая — проверка паспортов на лондонском аэродроме Хитроу. Молодой человек, впервые столкнувшийся с советским паспортом (тогда у меня еще был серпастый-молоткастый), пока кто-то где-то его проверял, завел со мной разговор о литературе. И выяснилось, что он не только «ГУЛаг» читал, но и «Ивана Денисовича» и «Матренин двор». Вот так-то...

И третий случай. Брюгге. Бельгия. Антикварная лавочка. Вещи — всякие там подсвечники и пистолеты — разложены на тротуаре. Рядом в кресле молоденькая девушка. В руках «ГУЛаг». (Она встала, куда-то пошла, положила книгу рядом, и я увидел обложку.) Это было утром. Вечером я опять проходил мимо — она всё так же сидела, склонившись над книгой, уже кончала.

Мое сердце радовалось.

Так что не только «Пари-Матчи» и «Иси-Пари»... Хотя именно в «Пари-Матч» была напечатана фотография матери Щаранского у здания суда — сидит на каком-то ящичке, седенькая, в очках, что-то читает, а в трех шагах загородка, милиция, с любопытством, тупо разглядывают.

Пойдем дальше, оставив позади обилие и прессу, упоминание о которых считается не вполне дозволенным приемом.

В ящике письменного стола у меня лежит маленькая серенькая книжечка с моей фотографией, именуемая «Титр де вояж». Если я хочу поехать в Италию, Швейцарию, Англию или Германию, я кладу ее в боковой карман, сажусь в поезд, самолет или машину и еду в Лондон, Женеву, Рим. На границе, как правило, никто этой книжечкой не интересуется (если ты едешь машиной — на других видах транспорта задерживают не больше, чем на три-четыре секунды). Правда, в некоторые страны, как-то Австрия, Испания, Португалия, для нас, изгнанников, требуется виза. Получение ее отнимает не больше часа времени. И мы уже ворчим — идти еще надо, стоять в очереди...

Свобода передвижения! Боже, какое это счастье!.. В прошлом году в Афинах, на Акрополе, чертыхаясь из-за обилия туристов — из-за потных, почему-то в большинстве своем японских спин и грандиозных, на голову выше своих хозяев рюкзаков ФРГшных студентов с трудом можно было разглядеть колонны Парфенона, — я с грустью слушал иностранную речь и ни разу не услышал русского слова... В Париже его все-таки иногда можно услышать, в основном, правда, в магазине «Тати», там самые дешевые колготки и лифчики... А в этом году, исколесив чуть ли не половину испанских дорог на машине, мы видели на багажниках обгонявших нас машин только «F», «B», «D», «GB», «NL», «H» — француз, бельгиец, немец (западный), англичанин, голландец, швейцарец, даже если это была «Лада».

А Пласа-Майор в Мадриде? Самый живой, веселый, кипящий, интернациональный уголок Европы. Гитары, песни, хохот, что-то поют, танцуют... И опять эти японцы — рядом с нами человек двадцать расселись, и все с фотоаппаратами, и не лень им и

денег хватает, чтоб пол-земного шара пролететь и именно здесь веселиться — и какие-то бронзовые, курчавые эквадорцы или перуанцы, и хоть бы родной матючок где-нибудь прозвучал... Нет! (Кажется, я заполнил этот пробел.)

Но мы увлеклись. Увлеклись, так сказать, активом капитализма. Поговорим же о язвах. Как ни как, всё же инфляция, безработица, расизм, борьба за существование... С детства учили.

Начнем с последнего.

Когда меня спрашивают, что мне больше всего не нравится в капиталистическом мире, я, рискуя быть проклятым всеми левонастроенными интеллигентами, отвечаю — забастовки! Да — забастовки! И не краснею.

Я вполне разделяю точку зрения В. Буковского, который где-то сказал: «Если говорить о солидарности, то я понимаю ее так: рабочие некоего немецкого, допустим, завода, которые изготавливают, например, трубы по заказу Советского Союза, прекращают работу в знак протеста против преследований в Советском Союзе. Освободите Кузнецова, или Щаранского, или Гинзбурга, тогда и трубы получите. Вот это солидарность!»

Вижу улыбку, а то и сдвинутые брови... Рабочие борются за свои права, это их неотъемлемое право, это и есть демократия. Заступаться за Щаранского и Кузнецова дело, конечно, хорошее, но свой желудок все-таки ближе.

Вот о желудке-то и пойдет речь.

В конце июля этого года работники французских аэропортов, так называемые *aiguilleurs du ciel*, «небесные стрелочники» — диспетчеры и контролеры, объявили забастовку. Одно из основных требований — повышение зарплаты. Законно? Законно. Должен только кое-что разъяснить. Профессор Сорбонны, к примеру, получает 6-7 тысяч франков в месяц. Стрелочник — 8 тысяч! В переводе на советские деньги —

по официальному курсу, т. е. более чем заниженному, — это около 1350 рублей. Много ли вы знаете людей, зарабатывающих столько в Советском Союзе? И можно ли кое-как свести концы с концами и заполнить желудок на этот заработок? Даже при росте цен?

И вот аэродромы бастуют. И это в самый напряженный период — начало каникул. Во Франции август — месяц каникул. Париж пустеет. До 15 миллионов французов — 30-го, 31-го, 1-го, 2-го — рвутся, как безумные, на юг. На дорогах пробки длиною в несколько километров, вводятся дополнительные поезда, на аэродромах не протолкнешься. И в эти-то дни стрелочники и выключились, парализовав не только свои аэродромы, но и всех соседних стран: Париж — главный европейский перекресток. Короче, более полу-миллиона пассажиров в Париже, Лондоне, Брюсселе, Франкфурте, Барселоне что-то около недели провалялись на своих рюкзаках и чемоданах, в ожидании рейсов, которые — забастовка была *grève du zèle* — «по всем правилам» — не отменялись, а откладывались — от одного часа до нескольких суток...

Фотографии в парижских газетах напомнили мне московские станции метро, превращенные во время войны в бомбоубежища.

Я спрашиваю — кому в данном случае надо почувствовать: стрелочнику или пассажиру, на которого стрелочнику с высоты своего неба глубоко наплевать? А ведь кто-то, может, и не отдыхать, а к умирающему летит. И вот никто — кроме пассажиров, но и те больше с голоду, рестораны не управлялись — ни в одной газете не возмутился. Борются за свои права!

За свои! За право купить новую машину (эта прошла уже свои 70 тысяч), или яхту (дети подросли, не отстают), да и вообще Жан-Пьеру надо уже подыскивать квартиру, что-то долго он с этой красоткой гуляет... Разве тут до Кузнецова или Щаранского? А то, что в прошлую, года два тому назад, подобную заба-

ставку из-за неразберих разбился самолет и были жертвы — что ж, выразили соболезнование родственникам. Короче — и на это наплевать.

И профсоюзы — синдикаты, как они во Франции называются, — на защите этих прав. И не мне — приглубленному эмигранту — в эти дела вмешиваться. Да я и не вмешиваюсь. Только удивляюсь. И тому, кстати, что руководители синдикатов, как ни в чем не бывало, принимают у себя деятелей советских профсоюзов и сами ездят в Москву, зная, всё зная о нашей борьбе за свои права. И о Новочеркасске тоже.

Демократия, ничего не поделаешь...

И все же ничего лучшего, будь она трижды гнилой, не найдешь. Просто другого выбора нет. С одной стороны, Советский Союз с беспардонной своей наглостью, со своими ракетами, и передравшиеся между собой Китай, Камбоджи и Вьетнамы, с другой — подающийся, увы, шантажу, так называемый свободный мир. А между ними «неприсоединившиеся», тоже свара — Египет на Кубу, Кадафи на Египет, Сирия на Ливан, Ирак вообще непонятно против и за кого, за террористов. Есть еще Пиночет и Видела, предмет всеобщей ненависти (лицезрел я не телеэкране и того, и другого, особой симпатии не вызывают. Видела со своей хунтой, довольно долго ожидавший после последнего матча с Голландией этих самых голландцев, так и не пришедших, чем-то очень напомнил мне стоящих на мавзолее наших руководителей — та же невозмутимость на лицах, граничащая с тупостью, ни признака улыбки — что-то есть общее у всех диктаторов). Вот их обвинять можно, везде демонстрации — правые, фашисты! А Иди Амина, бросающего кого не лень в Нил на съедение крокодилам, и эфиопских прогрессивных Менгисту, расстреливающих сотнями своих студентов, лучше не задевать — где-то там у них слово «социализм» существует. А увешанному до колен в три раза больше, чем Жуков и Брежнев вместе взятые,

орденами императору Бокасса I можно даже и наполеоновскую шпагу подарить — он же любит Францию, даже от гражданства не отказался.

И над всей этой шайкой убийц и людоедов выщает и диктует свои условия человек в бурнусе, которого встречают везде с распростёртыми объятиями и сто одним выстрелом из орудий, — король Халид ибн Абдул-Азиз, полновластный хозяин Саудовской Аравии, а может, и всего мира. Он прилетает на своем «Боинге», обставленным мягкими диванами, со специальной операционной на случай, если у шейха сердце сдаст, и все двери перед ним открываются — от него зависит уик-энд любого европейца: повысят или не повысят цены на бензин. И беседует он с королями, президентами и премьер-министрами, свита и родственники его тем временем скупают всё, что на глаза попадет, от зубной пасты до особняков и замков, а дома кочевники по-прежнему на 80% безграмотны, и какую-то принцессу публично, на площади, расстреляли за то, что полюбила неверного. И это еще сжалились над ней, а то по закону (XX век!) ее должны были закопать по шею в землю и закидать камнями... А шейх, властелин самых богатых недр земли, тем временем уничтожает устриц и омаров где-нибудь в Букингемском или Елисейском дворце. Того и гляди, в Кремлевский заглянет, попробовать икры.

Но вернемся все же в цивилизованный мир. К своим баранам, к язвам.

Безработица... Встретил я недавно одного безработного. На бульваре Сен-Жермен, в кафе. Сидит себе, кофе попивает, «Франс-Суар» читает. Инженер. Повздорил со своим хозяином, и тот его уволил. Так как он у него проработал менее какого-то срока, пособие будет получать в течение года только 75% последней зарплаты. А зарабатывал он не так уж много, что-то около четырех тысяч — 670 рублей по-нашему...

А я позволил себе что-то предосудительное говорить о профсоюзах. Нехорошо...

Считается, что большой процент безработных среди женщин. Вероятно, это так, статистика здесь не врет, — но всегда ли учитывается семейное положение безработной? Есть ли у нее муж или нет, никого не интересует — она имеет право на работу, ее уволили, и почему бы ей не получить пособие? И большинство женщин пользуется: дают — бери, за год что-нибудь не пыльное гляди и подвернется.

Хуже с молодежью. Оканчивающей вузы. В основном, гуманитарные. Наблюдается перепроизводство. И устроиться не так уж легко. Правда, хочется по месту жительства: в Париже, Лионе, Бордо — не всякого манит жаркий, сухой или, наоборот, влажный, Сенегал или Чад, там специалисты позарез нужны, и платят неплохо. Но жарко ведь. И далеко...

Возможно, я несколько приукрасил, но, ей-Богу, не очень.

Расизм... Здесь воздержусь. Во-первых, для этого желательно все же предварительно съездить в Америку, посмотреть на крыс в Гарлеме и пылающий ку-клукс-клановский крест, а во-вторых, подождем, чем всё кончится в Родезии, — хочется все-таки ознакомиться со всеми формами расизма.

И, наконец, инфляция, рост цен. С этим сталкивешься, увы, на каждом шагу и невольно с нежностью вспоминаешь тов. Сталина, который цены не повышал, а снижал, чего многие у нас в Союзе до сих пор забыть не могут. Но, ей-Богу же, не знаю, как француз — думаю, что с раздражением, а я довольно спокойно отношусь к тому, что «Голуаз» стоит не два франка, а 2.30, хотя это, конечно, и свинство. А то, что дорожают квартиры, это действительно плохо, они и без того, особенно в Париже, дороги. В скобках надо, правда, признаться, что вместе с ценами растет и зарплата, но что-то там чему-то не соответ-

ствует, а вообще — скажу по секрету — затянулась как-то эта инфляция, пора и кончать. Но даже Барр, умный, хитрый, всегда спокойный Барр и тот не знает, с какой стороны к ней подойти.

Ну, и самое скучное в капиталистическом мире, это — налоги.

В силу каких-то неведомых мне причин — все бумаги уже посланы — я почему-то еще их не плачу, боюсь, плохо кончится — но, что касается француза, лучше не заговаривай с ним на эту тему. В Союзе хорошо, там ни о чем не надо думать, всё, что положено, взимают без твоего участия. А здесь всё сам подсчитывай, собирай бумажки, умножай, дели, вычитай и неси, вернее, отправляй, чек. Худшая минута в жизни француза — это запечатывать конверт с чеком внутри. Избежать этой минуты никак нельзя, но что-то там скрыть или перевести деньги в Швейцарию многие пытаются, за что их судят, штрафуют и еще как-то наказывают. Французы таких людей отнюдь не презирают — во всяком случае, и Азнавур, и Холлидей — популярнейшие певцы, у зрителя пользуются не меньшим успехом, а может быть даже и бóльшим.

К слову сказать, в здешней налоговой системе разобраться не так уж легко. Растут налоги чуть ли не в геометрической прогрессии, и случается иной раз (как случилось с известной шведской писательницей Линдгрэн, автором знаменитого «Карлссона»), что налоги превышают заработок. Как и почему, не пойму, но получается. Ингмар Бергман тоже не понял, обиделся и уехал. Кому от этого хуже? Думаю, что не ему, а его родине. Впрочем, по последним сведениям, опомнилась. Бергман возвращается в Стокгольм и приступает к работе над пьесой Стриндберга «Танец смерти». Два года тому назад на репетицию именно этой пьесы явилась полиция и арестовала его. Сейчас решение властей о преследовании Бергмана признано ошибочным. Долгонько думали.

На этом, пожалуй, можно и закончить сии краткие, но правдивые заметки новичка в этом безумном, безумном, безумном мире, хотя к главным язвам мы так и не прикоснулись. Не коснулись терроризма (первый вопрос на всех конференциях — а почему в Советском Союзе его нет? — да потому, что там он не снизу, а сверху...), ограбления музеев и церквей, наркомании, коррупции. Просто с этими невеселыми явлениями я как-то непосредственно не сталкивался, поэтому и обхожу их. Впрочем, вру. С терроризмом в какой-то степени, косвенно, но столкнулся. Попал в Рим в день похищения Альдо Моро.

Во французских газетах писали, что в этот день Рим походил на осажденный город. «Angoisse!» Тревога! Рим охвачен тревогой. Да, магазины, лавочки — всё закрылось. Боялись эксцессов. И полиции приумножилось. Но я смотрел на этих полицейских, зевающих в своих автобусах, и на двух славных, черноглазых карабинеров, собиравших по карманам мелочь, чтоб купить две бутылочки пива и парочку бутербродов, и что-то никакой тревоги на их лицах не прочел. Чему-то смеялись, полмигивали хозяйке бара.

Другой раз попал я в Турин в день, когда был обнаружен труп Моро. Центральная площадь запружена была людьми. Красные флаги, лозунги с множеством восклицательных знаков, ораторы, громкоговорители, мальчишки со всех сторон облепили памятник то ли Виктору-Эммануилу, то ли Гарибальди... А через час всё утихомирилось, вошло в свои берега, и те же туринцы мирно сидели в кафе и обсуждали очередной футбольный матч... А послезавтра такое же количество людей, даже больше, соберется на площади у собора Св. Петра в Риме хоронить папу, а через две недели смотреть на дым — черный или белый — из Сикстинской капеллы, где по всем правилам замурованный конклав из 115-ти кардиналов будет выбирать нового заместника Св. Петра на земле. Итальянцы — в об-

щем-то приветливый и доброжелательный народ — любят иной раз пошуметь, и поглазеть, и ничего предосудительного в этом нет. А все эти «красные бригады» — болезнь века, а не Италия. Явление это не органическое, а наносное, со стороны, и более или менее известно, с какой стороны.

Итак, подведем некий итог — можно ли жить при капитализме? Большинство западных, в том числе и французских налогоплательщиков — придумали же такое слово, — пожав плечами, ответят, что в общем-то жить можно, но... И «но» у каждого будет свое — у коммуниста, социалиста, радикала, булочника, консьержки, «небесного стрелочника», Жискара д'Эстена, парижского клошара или Жака Месрина — гангстера, врага №1, как его окрестили газеты. И каждый из них может высказать свое мнение, во всеуслышание, кто с трибуны, кто в газетах или журналах, кто за стаканом вина у себя дома или в кафе. Многие, увы, еще верят в то, что социализм (подразумевается «с лицом», непонятно только, с каким) может принести что-то хорошее, хотя и увидели, что в зрелом виде он не очень съедобен. Другие — социалистические партии, например, — считают, что если и не достигли они сияющих (зияющих?) высот социализма, то, взяв в руки кабинеты, неуклонно приближаются к нему. Чего-то они добиваются, даже существенного — зарплата, рабочий день, национализация каких-то отраслей промышленности, — а в чем-то запутываются (те же налоги!), но в конце концов всем надоедают, и их прогоняют. Так случилось в Швеции. Но во все эти дебри я не хочу забираться. Моя задача крохотная. Ответить на самый что ни на есть обывательский вопрос — можно ли жить в этом мире? С его социалистическими или демократическими правительствами, при королях и королевах, с его инфляцией, коррупцией, ну и т. д.?

У меня есть свои «но». Но скорее политические, чем социальные, — робость «капстран», когда они

сталкиваются с хамством Советского Союза, вера в то, что с ним можно как-то договориться, и т. д. Но это политика, а социальное? Теоретически плохо — одни работают, другие наживаются. Не хочется злоупотреблять параллелями (вспоминается анекдот: чем отличается капитализм от социализма? При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме наоборот!), но капиталист, как правило, наживаясь, никаких законов (своего, капиталистического мира) не нарушает (правда, иной раз довольно хитро обходит), а у нас какой-то Брежнев или Суслев не то что нарушают, они просто живут «своими», народу неведомыми, никем не контролируемые законами. (Один киевский завскладом жаловался мне, что никак не дождетя пенсии. «Сил больше нет, грабят кому не лень. А под суд попаду я. Вчера вот, приехал шофер Ковпака, сам он носу не кажет — давай, говори, апельсины. Даю ящик. А персики есть? Даю и персиков ящик! Заодно и двадцать банок зеленого горошка загребают. Сел в машину — привет! — и укатил. А платить кто будет? Пушкин?»)

Короче, в капиталистической стране законы обходят, но они есть. По ту сторону берлинской Стены, хотя и существует «свод законов», но нарушают их не знаю, кто больше: злоумышленники или законодатели? А называется всё это одним словом — произвол, словом, начисто исключаящим другое слово — свобода.

Свобода! Господи, как только не обыгрывается это слово, это понятие. Свобода умирать под мостом, свобода издеваться над неграми, свобода вмешиваться во внутренние дела суверенной державы и т. д. И все же, только здесь, на Западе, я понял, что это значит.

Я не озираюсь! Не говорю шепотом, не закрываю все двери и окна, не открываю крана на кухне или в ванной, не кладу подушки на телефон, не говорю «тс-с-с!» и не указываю пальцем на потолок. Никто не

вломится в мою квартиру или в квартиру моего товарища, у которого я остановился на несколько дней, и не скажет «вы нарушили режим прописки, не отметились в милиции», и не посадит в машину, и не отвезет на аэродром, и не купит билет (за мои, дурака, деньги), и не проследит, пока самолет не взлетит (со мной такое было, когда в Москву прилетал Киссинджер). И никто не подойдет к машине моего друга, который встретил меня на вокзале и повез в гостиницу, и не скажет «пройдемте», и мы битых три часа просидим в милиции — есть подозрение, что вы сбили девочку! — и отпустят нас, только когда за окном появится иностранный журналист... Всех этих развлечений я теперь лишен. И писать могу, что хочу, — даже что наш вклад в войну больше, чем всех союзников вместе взятых. И про американские «шерманы», «аэрокобры», «студебеккеры» и свинотушенку тоже могу писать, и никто мне теперь не скажет, что я на них променял кровь советских солдат. Стоит, стоит, тысячи месс стоит Париж, в котором я сейчас живу. И одна из них — свобода умереть под мостом. Что может быть лучше — придешь вечером, ночью к Сене, спустишься по лесенке у Тюильри на набережную, пройдешь под аркой моста Pont-Royal, сядешь себе на лавочку у старого, со свисающими до самой воды ветвями, вяза (люблю я этот вяз) и закуришь. За твоей спиной Лувр, у ног тихо плещется Сена, и одно только окошко светится еще на том берегу. Сидишь и куришь. И думаешь. И сердце вдруг останавливается... Всё... Чем плохо?

10

Жена банкира крайне была удивлена, когда в этот час кто-то позвонил в дверь. Обыкновенно в это время никто не приходил — булочник и молочник всё остав-

ляли у дверей. Она готовила на кухне мужу утренний завтрак (*petit-déjeuner*), он в это время брился..

Она сняла фартук и, взглянув по дороге все же в зеркало, пошла открывать. В дверях стоял молодой, довольно приятной внешности человек. Он улыбался. В руках у него был пистолет.

— Доброе утро... Могу ли я видеть вашего мужа?

Он вошел, закрыл за собой дверь, сделал два поворота ключом и положил его в карман.

— Он еще не встал? Я подожду тогда.

Жена банкира ничего не могла ответить. Она узнала молодого человека. Ей стало страшно.

Из ванной вышел банкир, вытирая лицо полотенцем.

Молодой человек поздоровался. Банкир тоже узнал его.

— Простите за раннее вторжение. Но мне нужны деньги...

Воцарилось молчание. Банкир продолжал машинально вытирать лицо. Молодой человек сунул пистолет в задний карман брюк — он был очень маленький, как в старину говорили, дамский.

— Понимаю, — сказал он. — Больших сумм вы дома не держите. Когда открывается ваш банк?

— В... девять...

Все трое посмотрели на большие стоячие часы в углу. На них было десять минут девятого.

— Ничего, я подожду.

Он огляделся по сторонам, они стояли еще в прихожей, и сделал несколько шагов в сторону столовой. Улыбнулся. У него была приятная улыбка.

— Может, по чашечке кофе? А?

Потом они сидели и пили кофе с круассанами и апельсиновым джемом. Беседовали. Впрочем, беседой это трудно было назвать, говорил, в основном, молодой человек, хозяева больше поддакивали или вставляли короткие «Не может быть... Серьезно?..» и пере-

глядывались — первый страх прошел, но особой раскованности не чувствовалось. Наливая прищельцу в кофе молоко, мадам пролила его на скатерть — руки дрожали. «Гость» сделал вид, что не заметил.

Он рассказывал довольно интересные истории. Его слушали.

В дверях показалась одиннадцатилетняя дочь хозяев. «Гость» тихо сказал, так, чтоб девочка не слышала:

— Не будем травмировать... — и заговорил о затонувшем у берегов Бретани танкере, об этом писали все газеты.

Без десяти девять он, вытерев салфеткой губы, привстал.

— Может, двинем?

Банкир отправился в гараж. Молодой человек стал рассматривать висевшие на стенах абстрактные треугольники и квадраты. Увидев среди них небольшой пейзажик — ветряная мельница, облака — сказал:

— Предпочитаю подобное.

— Это работа деда моего мужа, — сказала хозяйка. — Он был художником.

Вернулся банкир.

Когда они сели в машину, он сказал:

— Надеюсь, вы ее нам оставите? — голос его дрогнул. — Отпуск, знаете ли... Мы всей семьей собрались...

— Ну, конечно, конечно, не беспокойтесь. Я машинами не интересуюсь.

В банке всё прошло очень быстро. Банкир позвонил своему компаньону, тот через пять минут приехал, и они втроем спустились к сейфам. Молодой человек забрал всё, что в них было. Потом поднялись по лестнице, он впереди, банкир с компаньоном за ним, попрощался со всеми служащими и вышел на улицу.

— Было б очень мило, если б вы подкинули меня к Гар дю Нор.

Все трое сели в машину.

Не доезжая вокзала, где-то на улице Лафайет, он попросил остановиться. — Я мигом. Позвоню только.

Оставшиеся в машине двое сидели молча, не глядя друг на друга.

Молодой человек почти сразу же вернулся. Закуривая, сказал:

— Жоржу звонил. Тому самому. Сказал, что свободен. Ваша супруга, естественно, тоже.

Жорж был его напарником, которого он оставил в доме банкира, когда они уезжали — «чтоб вашей жене не скучно было...»

Вылезая у вокзала из машины, он улыбнулся — знал, что улыбка ему идет:

— Ну... чуть-чуть не сказал — «до следующей встречи», но вряд ли вы так уж в ней заинтересованы.

Взял по-военному под козырек и скрылся в толпе.

Все это произошло то ли в апреле, то ли в мае 78-го года в Париже. Имя молодого человека — Жак Месрин — «враг общества №1», как называют его в газетах, с которым читатель дважды уже сталкивался в этих записках. Имя это знакомо любому французу, любого возраста, даже пятилетнему.

Приговоренный в свое время к двадцати годам, он отбывал свой срок в тюрьме Санте. Через пять лет бежал. Опять был судим. Сидел во многих тюрьмах. В начале этого года лихо ограбил одно из знаменитейших казино во Франции, в Довиле. Погоня, стрельба, был ранен. Скрылся. Описанное выше изящнейшее ограбление банка совершил, по словам Месрина, исправляя допущенную ошибку. «Сосьетэ Женераль» крепко его обидело. На одном из процессов, где «Сосьетэ Женераль» было истцом, оно потребовало, чтоб гонорар, полученный Месрином (он в тюрьме написал книгу), был конфискован. Это нечестно. Он так и написал директору «Сосьетэ Женераль»: «Вы

отобрали у меня все деньги. Хорошо! Но я буду считать, что вы взяли у меня их взаймы». Вот он и вернул то, что ему были должны. Не лишено логики.

В «Пари-Матч» за 5 августа этого года помещено большое интервью с Месрином. Взяла его молодая журналистка Изабель де Вонжен. На большой фотографии они оба. Он снят со спины, вполуборот, сидит в маечке, на кобуре у пояса «Смит и Вессон» типа «Комба-магnum». На другой фотографии справа еще один револьвер — «Кольт-Трупер». С ними он никогда не расстанется. И с гранатой тоже. «Они всегда со мной. В уборной, в душе, под подушкой... Я окружен охотниками, охота началась. Я защищаюсь».

Месрин словоохотлив. Он рассказывает обо всем, во всех деталях, ничего не скрывая. О побегах, ограблениях, о тюремной жизни, о тюремщиках — «есть плохие, но есть и хорошие». Он хитер, ловок, мастер на всякие выдумки, побеги его все продуманы — загашники, тайники, веревочные лестницы, переодевания — Дюма! — даже какой-то усыпляющий газ, а сам в маске — такого даже и у Дюма нет. Всё это он называет работой.

Изабель спрашивает:

— Что вы ищете, живя, как вы живете? Денег?

— Денег, конечно! Я не ищущу алиби. И не люблю изнанку жизни. Не хочу, стоя перед витриной, думать: нужно десять месяцев проработать, чтоб купить эту штуку. В мире эксплуататоров я не эксплуатирую никого, но я ищущу деньги везде, где они есть. И вообще я люблю приключения, риск... Если б меня еще в детстве спросили, кем я хочу быть, я, не задумываясь, ответил бы — бродягой или членом какой-нибудь шайки (truand — возможно, по-русски ближе всего «блатной»). Почему? Да потому, что они вне закона. Я не люблю закон.

В конце беседы Изабель спросила:

— Если б существовала машина времени и вы

могли бы вернуться назад, вы начали б иначе свою жизнь? Или о чем-то сожалели бы?

— Нельзя вернуться в прошлое. О чем-то я, может, и жалею, но сейчас я приперт к стенке. Всё может кончиться завтра утром. Не стоит смеяться над французской полицией. Она лучшая в мире. Француз любит подсмеиваться над ней, но, когда у него сопрут бумажник, он бежит к ней. А я... Я хотел бы жить без этих револьверов, с друзьями, женщинами, быть счастливым. Сейчас это исключено. Кончится всё плохо, знаю. «Le folklore et le champagne, c'est fini»*. Осталось одно — война!

Человеку со Смоленской площади всё это может показаться по меньшей мере странным. Пишут, берут интервью, помещают фотографии (в журнале, кроме двух упомянутых фото, снято еще оружие — а вы думаете, откуда я узнал, что оно типа «Комба-магнум»? — и удостоверение личности зам. начальника Санте, которое Месрин отобрал у него, уложив при побеге наземь, а потом пользовался этим удостоверением, что-то в нем подделав). Чёрт знает что! Человек грабит, убивает, издевается над людьми, осуждает законы, а потом еще говорит, что мечтает о друзьях, счастье... Извращение какое-то — иначе не назовешь, не зря в газетах пишут о растленном Западе.

Возможно, всё это и правильно, но... Опять «но». Между прочим, парижская прокуратура вроде как собирается возбудить дело — нет, не против Изабель, — а против человека, ответственного за публикацию. Очевидно, за недоносительство. Нечто общее с «нами», не кажется ли?

Так о «но»...

Конечно же, где-то глубоко внутри француз (и я вместе с ним) не то что восхищается лихими продел-

* С фольклором и шампанским покончено.

ками Месрина (что там ни говори, никто никогда не бывает на стороне тюремщика), но и не лезет из кожи вон, осуждая его. А о трюках другого гангстера, ограбившего банк в Ницце («ограбление века!»), а потом на суде выпрыгнувшего в окно и прямо на стоящий внизу мотоцикл (кино!) — об этом без восхищения и рассказывать-то трудно. Но при всем при том все качают головой, разводят руками — ну и времечко, ну и порядки, а советские газеты и хлебом не корми — *их нравы!*

Я же, грешным делом, релятивист. Всё относительно, всё в сравнении. А сколько таких Месринов, да и похлеще, водят за нос наши родные органы, которые нас берегут? Может, всё это без утреннего кофе и разглядывания дедушкиных пейзажей, и сейфы не банковские, а сберкасс (тов. Сталин, к слову, предпочитал банковские) — но кто об этом знает? Мы не любим дешевых сенсаций. И вообще — не твое собачье дело!

И суд над Щаранским или Гинзбургом тоже не твое собачье дело. Кто тебя на суд приглашал? Сиди дома и решай кроссворды или с соседом во дворе стучи в козла. Мамаы на суд явились — еще туда-сюда, всё же мамы — а Сахаров чего приперся? Академик — сиди в своей академии, пока не прогнали. Нет, видите ли, суд, мол, открытый... Для кого открытый, а для кого закрытый. Есть машина — садись и езжай. А нет, вон трамвай четвертый номер, до самого дома довезет (так сказали мне, когда я пытался проникнуть на суд над Сашей Фельдманом. «Писатель? Так пишите, а не нарушайте порядок» — и дальше про трамвай).

Нет, я все-таки за систему, где из зала суда можно, пусть через окно, но удалиться, а не ту, где в этот самый зал и войти-то нельзя. Даже матерям.

Я за систему, где существует то, что называется информацией, пусть даже с тенденциозными, но ком-

ментариями, а не ту, где «обсуждали взаимно интересующие обе стороны вопросы» — точка.

За ту, где газеты — буржуазные, продажные, называйте, как хотите, — могут спихнуть президента, а не ту, где лучшее им место на гвоздике, в сортире.

За ту, где могут оправдать или вынести мягкий приговор преступнику и даже брать у него интервью, а не ту, где люди, которыми страна должна гордиться, называются шпионами и изменниками.

За ту, где могут посадить в тюрьму за то, что ты провез в чемодане двух кошек, нарушив правила карантина (так случилось недавно в Англии), а не за ту, где сажают в тюрьму за книги.

За ту, где пограничник не стреляет в тебя с вышки, а машет на границе ручкой — проезжай, мол.

Называйте, как угодно: капитализмом, империализмом, гнилой демократией, растленным миром купли и продажи, чистогана, потребления, желтого дьявола, и пусть ругают ее и Белль, и Сартр, и все советские, просоветские, и прогрессивные, и левые, и не присоединившиеся ни туда, ни сюда газеты — я за нее. В ней все-таки можно жить! Худо-бедно (скорей, не бедно), но можно. И эксплуатировать тоже можно — знаю. Но и эксплуатируемый живет. Хуже покойного Онассиса или Жоржа Марше, но «дё шво»* если и не в гараже, то под окнами стоит. А у нашего хозяина фабрик и заводов в холодильнике (а фулишь!) поллитровка, если только утром не допил.

А теперь — распните меня!

* Самая дешевая французская машина, в обиходе называемая «две лошадиных силы» или «консервная банка».

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит, бежит
Гвадалквивир...

А. Пушкин

Всегда путал, кто что струит — зефир эфир или эфир зефир. И вообще одно напоминало розовое, пухлое пирожное, а другое — (бр-р!) зуболюбное кресло. А Гвадалквивир? Вовсе, оказалось, не шумит и никуда не бежит, а так, что-то очень спокойное, застоявшееся. Разочарование. Как и мадридская Мансанарес — помним еще по гражданской войне, линия фронта, — ничтожная, как киевская Лыбедь или так же разочаровавший два года тому назад Иордан...

Гвадалквивир, Испания...

В самом начале, во вступительном слове, я упоминал уже об Испании как о чем-то очень далеком, несбыточном, красивом и недосыгаемом. Испания — мечта, сказка... И никогда ты туда не попадешь.

«А что ты, живя еще на своем Крещатике, хотел бы узнать от друга, оказавшегося вдруг в Париже или Испании?»

И вот я опять оказался в ней.

Испания...

Для моего поколения Испания — это не только корриды, Дон-Кихот, Веласкесы, Эскуриалы и тайны мадридского двора, это и Гвадалахара, Герника, та самая Мансанарес, Университетский городок, Карабанчель, «альто» и «бахо» в героическом — No pasaran! — Мадриде, интернациональные бригады, Пасионария, Хемингуэй... Франко — сволочь и враг, прислужник Гитлера и Муссолини, фалангисты и марокканцы — звери и головорезы, республиканцы — сме-

лые и отчаянные ребята, дерутся, как львы. Все мы мечтали в Испанию...

Вместо этого я, с нарисованными углем усиками, изображал франкистского офицера, ведущего на казнь Гарсия Лорку. Во всеми забытой пьесе Г. Мдивани «Альказар». Играли мы ее на гастролях в Днепропетровске летом 1937 г. (Помню, как обомлели мы, прочитав в висевшей на стене «Правде» сообщение о Тухачевском, Якире, Уборевиче и других изменниках.) Содержания пьесы я, конечно, не помню, помню только, что всё сводилось к героизму республиканцев и жестокости франкистов. История этой войны — репетиции Второй мировой, — очевидно, ждет еще, как говорится, своего историка. Объективного и бесстрастного, как Фемида. Возможно, что-то уже появляется в нынешней Испании — не знаю, — но кое с чем, не совсем совпадающим с тем, как мы представляли себе эту войну, я столкнулся.

Вряд ли кто заподозрит меня в особой симпатии к Франко — диктатор есть диктатор, со всеми им присущими жесткостями и слабостями — но, ей-Богу ж, его режим — это детский сад по сравнению с режимом другого генералиссимуса (Господи, разучился уже писать это слово, запутался в «с»...) Габриэль Амиама, гостеприимный мадридский наш хозяин, в шестилетнем возрасте вывезенный в Советский Союз и вернувшийся в Испанию в 1959 году, рассказывал, что регулярно получал по подписке в Мадриде «Правду», ни один номер не пропал. Само собой разумеется, и заграничные поездки никому не возбранялись — езжай, куда хочешь! И все же фашизм! Без лагерей и Освенцима, но фашизм. В ООН не приняли. Не могут забыть «Голубую дивизию», которую, кстати, кое-кто из русских тоже вспоминает, как одесситы — румын, украинские села — итальянцев.

Но я вспомнил об Альказаре. Вернемся ж к нему, не к пьесе, к другому. Тяжелым, массивным кубом с

башнями по углам возвышается он над Толедо, над путаницей его улочек, над прилипшими друг к другу двух-трехстолетними домами, над извилистой, окружающей весь стоящий на холме-утесе город, на этот раз шумящей и бегущей рекой Тахо. Построен был он как замок, как крепость, еще при Карле I. К началу гражданской войны в толстых стенах его находилась военная академия — пехотная и кавалерийская.

В пьесе Мдивани осада Альказара представлена как некая героическая страница в истории республиканской армии. Насколько я мог понять, это не совсем соответствует действительности. Сама осада длилась недолго — 70 дней — с 21 июня по 28 сентября 1936 года, в самые первые дни войны. В крепости засели франкисты, город был в руках республиканцев.

Как ни странно, но в продающемся в каждом киоске альбоме «Всё Толедо» в самом тексте ни слова не сказано об обороне Альказара, только под одной фотографией — командного пункта полковника Москардо, коменданта крепости, — несколько строчек об этом полуразрушенном кабинете, сохраненном в нетронутом виде, «печальным свидетелем героической обороны».

В малюсенькой брошюре «Эпопея Альказара в Толедо» — в киосках ее нет, только в самом Алькаzare — всё изложено подробно.

Защитников было 1200 человек, не считая более чем пятьсот женщин и детей (семьи защитников), упрятанных в подвалы. Осаждавших во много раз больше, поддержанных полевой и 105- и 155-миллиметровой артиллерией, к тому же и авиацией. За два с лишним месяца крепость была почти полностью разрушена. Около половины защитников было ранено, 105 человек убито. Но выстояли. 28 сентября подошедшие войска генерала Варела осаду сняли. Республиканцы отступили за Тахо.

Один из эпизодов обороны. На второй день после начала осады — 23 июля. Телефонный разговор между осаждающими и осажденными. На одном конце начальник милиции республиканцев, на другом полковник Москардо.

Нач. милиции — На вас лежит ответственность за дальнейшие жертвы и преступления. Я требую сдачи Альказара в течение десяти минут. В противном случае будет расстрелян ваш сын Луис, который здесь, в наших руках.

Полк. Москардо — Не сомневаюсь в этом.

Нач. милиции — В доказательство того, что я говорю, ваш сын возьмет сейчас трубку.

Луис Москардо — Папа!

Полк. Москардо — Что происходит, сын мой?

Луис Москардо — Ничего. Они сказали, что расстреляют меня, если ты не сдашь Альказар.

Полк. Москардо — Тогда вручи душу свою Всевышнему, воскликни «Да здравствует Испания!» и умри как патриот.

Луис Москардо — Крепко целую тебя, папа.

Полк. Москардо — Я тоже крепко тебя целую, мой сын. (Нач-ку милиции): Ваш ультиматум бесполезен, Альказар не будет сдан никогда.

Луис Москардо был расстрелян. Ему было 23 года.

Мне, в свое время воевавшему против фашизма, олицетворявшего всё самое бесчеловечное и жестокое, было как-то не по себе, когда я стоял в Альказаре перед портретами двух фашистов — отца и сына — двух героев... Разве могут у фашистов быть герои? Героическая оборона?

Альказар полностью восстановлен. Перед ним памятник. Женщина. Испания... В воздетых к небу руках меч. Такая же женщина, как в Ленинграде на Пискаревском кладбище, торжественная, величавая, спокойно глядящая в будущее — только у этой в руках меч,

а у той цветы — а на Мамаевом кургане у такой же, уверенной в победе, но экзальтированной, тоже меч, да еще занесенный.

Мамаев курган...

Казалось бы уже столько о нем сказано, написано, вспомнито, а я вот опять к нему. Да. Но не к тому, изрытому лопатами и бомбами, исползанному на брюхе вдоль и поперек, усеянному скрюченными, замерзшими трупами, и нашими, и вражескими, нет, не к нему, а к сегодняшнему, где не найти уже следов окопов, где всё подметено и подстрижено, где лестницы и бассейны, устрашающие скульптуры голых и полуголых защитников и над всем этим та самая Мать-Родина с мечом в руке — стометровая, самая большая в мире, больше статуи Свободы...

Я думал, вспоминал о Мамаевом кургане, подъезжая по длинной, вьющейся среди низкорослого сосняка, пустынной аллее, ведущей к Долине Павших.

Valle de los Caidos — Долина Павших — мемориал в честь павших в гражданскую войну. В шестидесяти километрах от Мадрида, недалеко от Эскуриала, на высокой скале, среди лесов, холмов, озер.

Режимы, основанные на силе, не могут без грандиозного. Мощь, величие, циклопические размеры, Нюрнбергский стадион, стадион «Олимпико» в Риме, мемориал в Бресте, Мамаев курган, к счастью, неродившийся Дворец Советов с теряющимся в облаках Ленином.

Памятник, который открылся нам после последнего витка дороги, тоже грандиозен. Скала. На ней крест, видный за десятки километров. 150-метровый. В скале, в самой скале, храм. Перед ним эспланада. Вокруг, насколько хватает глаз, леса, долины, озера, вдали снега Сьерра-Гвадаррамы, над нами небо, жаворонки.

Впечатление сильное — ничего не скажешь. Особенно, когда, пройдя сквозь бронзовые врата, всту-

паешь в прохладную, гулкую базилику, теряющуюся далеко где-то вдаль. Полумрак, с трудом можешь различить гобелены на стенах. Сцены из Апокалипсиса. XVI век. Предполагается, что соткано по эскизам Дюрера. Впереди распятие, сияющее среди сумрака. Ты идешь долго, очень долго. В нишах рельефные изображения Мадонны. Мадонн Кармель и Лоретт — покровительниц вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, Мадонны Африки — покровительницы пленных, и четвертой — Пилар. Одна галерея сменяет другую. Крипта... Четыре бронзовых архангела. Михаил — вождь небесной рати, Гавриил — вестник Бога, Рафаил — целитель, и ангел смерти — Азраил с поникшей головой. У Гавриила, возвестившего Деве Марии о рождении Христа, в руках почему-то меч, кажется, единственный во всем этом храме жертвам войны. Посередине алтарь полированного гранита. На нем распятие. Из можжевельника, полихромное — в Испании во всех церквях деревянная скульптура раскрашена. Над головой, на сорокаметровой высоте, купол. Мозаичный — души возносятся к престолу Христа.

У подножья алтаря, с одной и другой стороны, две плиты. Франсиско Франко и Хосе-Антонио Примо-де-Ривера. Цветы.

Идея памятника — идея Франко. Он задумал, при его царствовании и воздвигли. Памятник всем павшим на войне. И тем, и другим. Церковь благословляет всех проливших кровь испанцев. Она не делает различия. Крест на скале осеняет Испанию, всю, всех ее сынов.

А всех ли? — слышу я голоса. Учтены ли две тысячи испанцев, погибших уже после войны по воле этого маленького властолюбивого генерала, лежащего под плитой у подножия распятого Спасителя? Кто ответит на это? Азраил — ангел смерти?

... На кладбище это мы натолкнулись совсем случайно. Искали Усть-Камчатский рыбокомбинат. Нам сказали, что он в конце длинной пыльной улицы, именуемой «Комсомольской», возле кинотеатра «Родина». Мы пошли по длинной пыльной улице и натолкнулись на кладбище. В самом центре площади — громадной, бесформенной, песчаной. Возле самого комбината, напротив «Родины».

Я видел много кладбищ в своей жизни. Разных. Тихие ухоженные рижские, где за оградами на волнообразно причесанном песке лежат как бы невзначай брошенные хризантемы. Заросшие деревенские погосты с черными, покосившимися крестами. Новодевичье с часовенкой над могилой Чехова и двумя холмиками рядом — большим и маленьким — Станиславского и Лилиной. Видел Арлингтонское в Вашингтоне, где похоронен сейчас Кеннеди. Там холмиков нет, только маленькие плитки бесконечными, уходящими вдаль рядами. Средневековое пражское, в самом центре города, где древние каменные плиты с полустертými надписями подпирают и выталкивают друг друга. Видел по ранжиру построившиеся белые кресты «айзенкрейтрегеров» — кавалеров Железного креста — у развалин универмага в Сталинграде. И старое, разрушенное еврейское в Киеве, у Бабьего Яра. Видел Трептов-парк в Берлине, Вечной славы в Киеве, одинокие крестики на Мамаевом кургане, поставленные окрестными жителями, Марсово поле в Ленинграде и десятки, сотни маленьких кладбищ на околицах сел и деревень со стандартными фигурами печально склонившихся воинов.

Кладбище, на которое мы натолкнулись, не имело ни тропинок, ни дорожек. Десятка два воткнутых в землю железных труб, колючая проволока. Внутри с полсотни почти сравнявшихся с землей холмиков, кресты из тех же ржавых труб, полусгнившие деревянные пирамидки. Здесь давно не хоронят. С трудом

можно разобрать надписи на табличках. Их почти не видно — ветер, дождь, снег, годы...

В. С. Пекарский
р. 1933, ум. 1940
(Погиб в пургу в своем дворе)

Семилетний мальчишка вышел, очевидно, по нужде во двор и не вернулся. Пурга. На Камчатке снегом заносит дома иногда по самые трубы...

Рыжков А. И. р. 1912
Погиб I/IX-40 от удара лошади

Кому-то показалось необходимым сообщить нам, отчего умер двадцативосьмилетний Рыжков. Вот мрачный, некладбищенский юмор:

Здесь покоится прах умерщвленного Бахусом моряка р. р. «Юпитер» Михайлова С. К. 1902 — 1954

Написал друг и собутыльник. И крепко выпил, когда заказывал табличку. И очевидно, так же кончил...

На кресте спасательный круг. Внутри круга табличка, сохранившаяся почему-то лучше других. Может, круг и спас от непогоды. Надпись:

Погибли в барах 27/1—36
Туманов, Степаненко
Спасая товарищей, погибли вместе с ними,
Спасая Андреева, Сидоркина, Зиновьева,
Слюняева, Кочергина.

Бары — это подводные наносы песка у устья реки. Это очень опасные места, рыбаки это знают. И все же гибнут. Вот так же и эти ребята погибли.

Кто они? Никто не знает. Никто не помнит. Это было так давно, почти тридцать лет назад.

Еще одну надпись удалось разобрать. Тоже погибли в барах.

*Моряки к/р «Исследователь» —
Куртин Д. Р. 1912, Воскресенский И. П. 1915 г.*

Тоже тридцать лет назад — 9/Х—1935.

Об остальных ничего не известно — остались только холмики, заросшие жалкой травой, размытые дождями; на одном из них — пустая поллитровка и недоеденная банка болгарского перца...

И былшем поросло... Какое меткое, какое грустное, страшное слово.

Стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит. Привести в порядок? А средства? А кому? Дел и без того хватает. Вот с планом, например. Должны были к 1 июня... И тебе начинают говорить о плане, нехватке оборудования, ремонте цехов, прогнозе погоды. И телефон надрывается, и кто-то что-то требует, кто-то в чем-то отказывает, и опять что-то срывается или может сорваться. А ты о каком-то кладбище...

Я позволил себе привести этот маленький, давно мною написанный рассказик о далеких камчатских могилах, так как часто вспоминаю о них. И на Мамаевом кургане, попадая туда, и бродя среди поверженных плит разрушенного по чьему-то высочайшему повелению еврейского кладбища в Киеве, и здесь, у ног гигантского распятия на скале. Вспоминаю и в горестные дни, когда хороню друзей.

Мы хоронили Сашу Галича. Неожиданная, нелепая смерть, в которую как-то и поверить было трудно. Он лежал на полу, большой, грузный, а над ним

его убийца — сияющий никелем «Грундиг» — именно о таком он мечтал, большом, ультра-стерео, с бархатным звуком. Он любил музыку... Потом пришли полицейские. Тихо, беззвучно, точно боясь причинить ему боль, уложили в гроб. Сняли и отдали мне крестик. И ушли. Унесли, тихо прикрыв за собой дверь.

Потом мы его хоронили.

Хоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И в этом было тоже что-то непонятное, несуразное. Не в Москве, где его знали, любили, слушали собравшись у друзей, не в России, поющей его песни везде — в глухой тайге, на Курилах, в знатных домах, в общежитиях, в тюрьмах и лагерях, — а здесь, в Париже, на тихом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа...

Какое красивое, задумчивое, какое нефранцузское кладбище. Там камень, мрамор, гранит, плиты, скелеты, мавзолеи. Здесь березы. Много, много берез. И под ними кресты... Бунин... Ремизов... Зиновий Пешков, французский генерал, приемный сын Горького... Вика Оболенская — героиня Сопротивления... Теперь и Саша Галич.

Здесь похоронена эмиграция. Здесь «свалка истории». Та самая, где и мы, грешные, окажемся. И лежать нам рядом с Буниным, Ремизовым, Сашей Галичем... И рядом с дроздовцами, корниловцами, хорунжими Войска Донского, атаманом Улагаем.

Все смешалось в доме... Нашем доме. Разметало живых и мертвых по всему свету. Живые, и тут и там, тянут (одни пешком, другие на машинах) свою неодинаковой тяжести ляжку. Ушедшие, кто на Новодевичьем, кто в Сент-Женевьев-де-Буа, кто в Бабьем Яру, кто просто в яме с биркой на ноге.

Хозяева России... Одного пристрелили, сожгли со всеми близкими, развеяли по ветру. Другой покоится еще в хрустальном гробу, и миллионы, миллионы выстраиваются в очередь, чтоб посмотреть на мумию (кто-то пророчески сказал — пока будет существовать

эта очередь, будет существовать и советская власть). Третий — царь царей — какое-то время пролежал рядышком, потом выдворили — тайно, ночью, без свидетелей, — и на могиле его у кремлевской стены три, включенные в какую-нибудь ЦКовскую ведомость, цветочка, как у какой-нибудь Крупской (у Гагарина до сих пор горы цветов, без всяких ведомостей). Ближайшему другу и соратнику царя пустили пулю в лоб или в затылок другие его соратники. В кремлевскую стену запихивают каких-то Кулаковых, а основные кандидаты туда доживают свой век, копаясь в огородах и гадая, куда их бранные останки денут. Куда, например, девать «Вячека-Каменную Задницу», тов. Молотова В. М. когда он отдаст, наконец, душу Богу или дьяволу? На Новодевичьем, рядом с Никитой? Или можно все-таки на центральную аллею — в деятельности Никиты Сергеевича, как-никак, «проявился волюнтаризм и субъективизм» (БСЭ, том 28), а у Вячеслав Михайловича ничего не проявилось — «с 1962 года на пенсии» (БСЭ, том 16) — грехов не было. Ни крови на руках, ни отклонений от линии. (Тов. Тов. Кагановича и Маленкова в БСЭ и вовсе не найдешь — не было таких, и точка.)

Смешалось, смешалось, всё смешалось...

Хожу по аллеям тихого, зеленого кладбища. Почти как киевское, Байково, где за одной решеткой покоятся мама, бабушка, тетя Соня. Передо мной на столе фотография — скромный памятник, крест. У ограды пожилая, седая дама. Я с ней никогда не встречался, она эту фотографию, снятую в Киеве два года тому назад, прислала из далекой Австралии. И несколько засушенных цветочков с могилы. Вера Павловна Тоцкая... Авось, мы когда-нибудь встретимся, и я смогу сказать ей всё, что в данных случаях хочется сказать.

Брожу по дорожкам среди берез и плакучих ив, ослепительно ярких, пушистых елей... Иван Шмелев.

Константин Сомов. Мережковский и Зинаида Гиппиус. Художница Серебрякова. Я с ней когда-то переписывался — послал ей фотографию с портрета ее няни. Забытый ею, висевший у меня на стенке. Борис Зайцев...

И рядом много-много действительных статских советников, членов Государственного совета, корнетов лейб-гвардии кирасирского Его Величества полка, прапорщиков, поручиков, капитанов. Гофмейстерина Высочайшего Двора Е. А. Нарышкина, урожденная княжна Куракина. Маркиз А. А. Андро де Ланжерон... Монумент памяти генерала Деникина, барона Врангеля, адмирала Колчака, всех тех, с бородками и в папахах, теряя оружие, на костылях, в панике бегущих от красного штыка в мозолистых руках, какими мы знали их по карикатурам Бориса Ефимова, Дени, Кукрыниковок...

Вот мои будущие соседи...

И среди них один только Саша Галич — близкий, свой, так рано и нелепо ушедший.

Кружу по аллеям. Кресты, кресты, кресты. Мраморные, гранитные, металлические, простенькие деревянные.

Умер, скончался, мир праху твоему... Памяти 15 тысяч убитых в боях дроздовцев... Памяти Вики Оболенской, кавалера ордена Почетного легиона, расстрелянной немцами под Берлином 4 августа 1944 года.

В. С. Пекарский — погиб в пургу в своем дворе...

Погибли в барах, спасая товарищей — Туманов, Степаненко — погибли вместе с ними.

И стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит...

Немцы... Не те, «айзенкрейтрегеры» у сталинградского универмага, которые в нас стреляли, а другие, у берлинской Стены. Вдоль всей Стены кресты. На них венки, у подножья цветы. Преступники, изменники! Хотели убежать из тюрьмы. При попытке к бегству. Пулю в спину...

12

Бог ты мой, как далеко увела меня могила чужого, маленького (а кто из них был выше? Кажется, один под стать другому) генералиссимуса?

Вернемся ж с печальных кладбищ Камчатки и Франции на раскаленный, плавящий сорокаградусной июльской жарой мозги, Иберийский полуостров. Поговорим о чем-нибудь менее грустном, о красивом, о старине. Всего этого хватает в нынешнем королевстве Бурбонов.

Удивительное все-таки королевство — не привык я к этому в нашей федерации свободных республик — единственный портрет короля Испании (кроме марок) мы увидели за день до нашего отъезда, в маленьком городишке Фигерос, в... музее Сальвадора Дали. Прославленный художник, подаривший родному городу этот музей, отъявленный монархист и друг нынешнего короля Хуана-Карлоса — портрет его, во весь рост, вполне официальный фотопортрет, в адмиральском, если не ошибаюсь, мундире, на самом почетном месте. И без всяких штучек-мучек и выкрутас, столь любимых мастером. Нет — тут пиетет более чем неожиданный.

Но это было в конце путешествия, до него еще пять тысяч с лишним километров, начнем же с начала, как в старое доброе время.

Выехали мы из дому в субботу, восьмого июля, в семь часов утра. Не на «Симке» или «Рено», а на терра-

котового цвета «Ауди», купленной Витей за 13 тысяч франков (одни считают, что дорого, другие, что дьявольски повезло) и проехавшей у прежнего своего владельца за четыре года 58 тысяч километров. Ехало нас трое — мы с Витей спереди, перетянувшись предохранительными ремнями, Мила, его жена, сзади, где иной раз можно и всхрапнуть, устроившись вдоль сиденья. Тогда на какое-то время прекращались указания насчет светофоров или уменьшения скорости до 90 км/ч, выше которой начинающему водителю (наш, Витя, получил права два месяца тому назад) развивать нельзя.

Маршрут — через Андорру до Барселоны, дальше, по побережью, до Альмерии — это самая южная точка — затем на север — Гранада, Севилья, Кордова, Толедо, Мадрид — и, предполагалось, через Бильбао — Сан-Себастьян назад, домой. Длительность поездки — три недели.

Время для туризма выбрано было не лучшее — нас страшили сверхчеловеческой жарой (была-таки) и тридцатью семью миллионами туристов, которыми пугал зачем-то других туристов испанский министр туризма и информации (не так оказалось и страшно — страшно на Коста-Браво, на модных пляжах севернее Барселоны). Пугали нас и отсутствием гостиниц, вернее, забитостью их всё теми же тридцатью семью миллионами. И мы взяли палатку.

Ах, палатка, милая ты наша палатка... Три минуты, и она разбита. Где-нибудь среди агав и камышей, у самого синего моря. Надуваются матрацы. Разжигается примус, вернее, голубая газовая плитка-горелка. Готовится ужин. Потом, насытившись и развалившись в складных наших креслицах (купили по дороге вместе со столиком, захотелось комфорта), покуриваем, любуясь закатом и первой на чистом-чистом небе звездочкой. Подводим итоги дня...

Буду откровенен — упомянув выше об агавах и камышах, я картину несколько приукрасил. Они укра-

шали наш быт только однажды, под Таррагоной, в основном же, окружавшее нас напоминало скорей свалку. Мы выбирали места попустынное, подичее, но отдыхающий испанец или иностранный турист до нас уже тоже здесь побывал. И не так уж старательно за собой убирал. Но рядом было море, теплое, прозрачное, приветливое, и мы наслаждались им и вечерней звездой, плюя на банки и скомканные газеты.

Ребята жили в палатке, жалуясь иногда на то, что что-то капает сверху, я в машине, откинув спинку. Утром болела шея, но после купания все проходило. Ели комары. Победили и их, купив какое-то средство. Короче — я окунулся в нечто давнее и прекрасное.

В том давнем и прекрасном не было палаток, ночевали в каких-то пещерах или у сердобольных горцев, в душных их саклях. И никаких машин, всё пешком. За спиной жалкие наши рюкзаки (куда до теперешних, с какими-то металлическими рамами), в рюкзаках хлеб, концентраты, пластинки (четыре коробки — уже вес!), громоздкий, с гармошкой фотоаппарат «Фойхтлендер» — перезаряжай ночью, в штанах, укрывшись одеялом. И протопали мы так все Военно-Сухумские, Военно-Осетинские, Ингурскую тропу, всю Сванетию, забрались даже на Эльбрус... Прекрасные, далекие, златые дни моей весны.

Но и эти, глубоко осенние, немногим уступали тем. К стыду своему, должен признаться, что вечера эти и утра, еще прохладные, пустынные, вдали небоскребы какого-нибудь Аликанте или Бенидорма (на карте генеральной крохотная точка, а в натуре небоскреб на небоскребе и прочий курортный шик), мусорники наши и свалки, и даже двое полицейских (никак не могли понять, что мы собираемся здесь не пять дней просуществовать, а пять часов, до утра), разговор с которыми кончился дружеским похлопыванием по спинам, именно это — окунание в далекое и прекрасное — вспоминается сейчас с особым умилением.

А Мурильо (лучший — в Севилье), Веласкес, Эль-Греко, Гойя, Зурбаран? А Альгамбры, Альказары, Прадо, львиные дворики в Гранаде, мечеть в Кордове? О да, конечно, что вы, — мы ходили из дворика в дворик, из катедрали в катедраль (я уже как дядя Коля — вакансии, авион, синема...), из зала в зал, от Гойи к Греко, от Греко к Гойе, взбирались на стометровую колокольню в Севилье («подъем легкий, без лестниц», там пандус), спускались в Эскуриале в гробницу испанских королей (кто-то из советских почитаемых поэтов, то ли Ошанин, то ли Островой, неплохо сострил — «лежат один над другим, как чемоданы в камере хранения», — действительно, похоже), побывали в Мадриде на корриде (Мила, как все женщины, осудила — жалко быка), а в Кордове даже в Музее тавромахии (портреты, мулеты, эстокос — шпаги знаменитых тореро), купали охапками открытки, виды, буклеты, проспекты, альбомы всех городов и музеев, снимались на фоне гениальных творений Антонио Гауди (и всех остальных альказаров, памятников, фонтанов, пальм и авенид) и только на канатной дороге над Барселоной не проехали — Мила сказала, что через ее труп. Короче — чести туриста не уронили. И все же...

Давно и всем известно, что в музеях больше двух-трех залов за раз осматривать нельзя («пойду-ка освежу в памяти Кранаха, Босха...»), в Париже я одно время пытался делать такое с Лувром, но, став волей или неволей туристом, ведешь себя, как турист — всё Прадо снизу доверху, справа налево. Потом уже не чувствуешь ног под собой, валишься вечером, как подкошенный, в своей «резиденции» (так именуются в Испании самые дешевые отели, по-старому «меблирашки», в которых мы и находили приют), и в голове сумбур, каша — где ж мы это видели — в Гранаде, в Толедо, в Кордове? А и там, и там, и там мы видели столько прекрасного, истинного, неповторимого, что, переваривая (или не переваривая) потом все это на сво-

ей коечке в резиденции, невольно задаешь себе вопрос — да почему ж всё это? Почему всё вылилось в то, во что вылилось: железо, заклепки, болты, саженные, забрызганные краской полотна, иногда висящее, иногда качающееся, крутящееся, звенящее, пищашее? Понимаешь, что за веком не угонишься, что реформаторы в искусстве всегда были непоняты, что над Клодом Моне и Сезанном в свое время издевались — мазня! — и ругаешь себя за консерватизм, отсталость — и все же — почему? Не буду называть фамилий, чтоб не прослыть дремучим реакционером, но почему на этих, неназванных, я смотрю, потому что нельзя не посмотреть, неприлично, а перед каким-нибудь «Caballero desconcido» — «Неизвестным кавалером» Греко в музее Прадо или перед «Христом, поддерживаемым ангелом» Антонелло де Мессина, впервые увиденным мною в том же Прадо, долго стоишь, и разглядываешь, и что-то стараешься понять, а одним словом — наслаждаешься.

На старости лет я как-то растерялся. Не могу определить, что и почему я люблю. «Кто ваш любимый художник?». Не знаю. Левитан? Пожалуй. А Клод Моне? Тоже. А Серов, Врубель? Да, да, да... Сурикова, вот, меньше. А Микельанджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи? Шагала, Пикассо? Отстаньте, не хочу отвечать... «Мир искусства» люблю — Добужинского, Остроумову-Лебедеву, Сомова, книжную иллюстрацию, само оформление книги — на какую же высоту они его подняли. И это *моя* высота — старый Петербург, каналы, мосты, дворы со штабелями дров, Версальские аллеи Бенуа. Но, когда попав в библиотеку Эскуриала, я увидел рукописные книги XV-XVI века (инкунабулы, что ли?) с изумительной филигранности картинками про королей и принцев, про их охоты и сражения, я понял, что есть высоты в чем-то недостижимые. В Испании таких высот — что ни город, то высота, горные цепи, кряжи. И взбираясь, карабкаясь

по ним, задыхаясь, вдруг останавливаешься перед каким-то пиком и немеешь.

Так было со мной во Флоренции, в Уффици, когда я открыл для себя Паоло Учелло, художника, не так уж много после себя оставившего. С радостью обнаруживал я его потом в Лувре, в Оксфорде.

Впервые увидел я в Лондоне и великого Тёрнера. Знал о нем, но никогда не видел — его картин в Европе почти нет, в Эрмитаже, кажется, только одна. Знал ли (конечно, знал!), любил ли его Клод Моне?

Впервые в Лондоне же узнал я о существовании Джона Мартина. Немыслимых размеров полотна его (я видел только те, что в «Тэт-галлери») изображают всё самое страшное в жизни нашей планеты (тут это модное нынче слово как нигде уместно) — всемирный потоп, конец света, Страшный суд. Вы хорошо помните брюлловский «Последний день Помпеи» — так это детская идиллия, элегия Масснэ в сравнении с грохотом рушащихся скал, раскатами грома и бешеными молниями, сверкающими в клубящихся тучах над гибнущими, тонущими в кипящих океанах мирами. Стоишь оглушенный всем этим ревом и гулом (ты слышишь его!) и трепещешь в ожидании неизбежного конца... Мне эти живописные катаклизмы противопказаны, но я стоял, и смотрел, и купил потом альбом, и люблюсь сейчас портретом Джона Мартина работы, очевидно, его брата — удивительно красивое, тонкое, утопающее в бакенбардах лицо английского аристократа. И что особенно поражает, это спокойствие лица — как будто ничто в мире человека не беспокоит, мысли его отдыхают среди изумрудных лугов любимой Англии.

Романтизм... Здесь, в Париже, на выставке «Романтизм и символизм» познакомился я с Каспаром Давидом Фридрихом, немецким романтиком, с его затянутыми утренним туманом домиками и горными вершинами, заброшенными кладбищами, руинами

замков, серпами полумесяцев над всей этой задумчивой грустью, восходами и закатами, несущимися куда-то тучами, распятиями на диких скалах (почти «Долина павших»...), с его, как выяснилось, знаменитым «Путником, созерцающим облака»...

Густава Моро я знал с детства по одной только его «Саломее», копию с которой делала одна наша знакомая. Теперь же, оказалось, я живу в двух шагах от его музея, в который, хоть он и рядом, попал только после многократных «Как, вы еще не были в музее Моро?». Попал и понял, что он как живописец мне чужд (хотя его и считают родоначальником сюрреализма), а нравятся мне только его тонкие, карандашные рисунки и пейзажи.

Я много слышал о знаменитом норвежце Вигеланде, о его скульптурном парке «Жизни человека» в Осло (потом и увидел, и понял, что это тоже одна из вершин), но я никогда не слышал о шведе К. Миллесе, а ведь Millesgården, Сад скульптуры, — одна из главных достопримечательностей Стокгольма. Миллес своими летящими, парящими, куда-то всегда устремленными фигурами знаменит не только в Швеции — во всем мире, а я услышал о нем, увидел его на шестьдесят пятом году своей жизни.

Ах, до чего же приятно открывать для себя что-то новое... Я не открыл для себя Эль-Греко, но открыл его «Евангелистов». В Толедо, в Casa del Greco. Парад складок — так можно было бы назвать эти портреты, где всё как будто построено на одеянии, не пышном, веласкесовском, а простом, ниспадающем и окутывающем, но так хорошо оттеняющем или выделяющем лица самих Евангелистов. И я выбрал себе Иоанна Богослова, молодого, кудрявого, задумчивого, и портрет его стоит сейчас у меня на полочке. Стоит еще и потому, что совсем недавно, в прошлом году, мы были соседями. В Греции, на острове Патмос. Келья, в которой писался «Апокалипсис», была в двух авто-

бусных остановках от меня. У монастыря веселый, черноглазый шофер выкрикивал: «Апокалипси!», и тучи туристов вываливались наружу...

В Прадо открыл я для себя совсем незнакомого Боттичелли. «Historia de Nostagio» — называются три картины, составляющие одно целое. Некий всадник на белом коне, в развевающемся красном плаще, гонится за прелестной обнаженной девушкой, настигает ее, и она, затравленная собаками, падает у длинного пиршественного стола, насмерть перепугав сотрапезников. Содержание картины мне не ясно — кто? что? почему? — но я впервые столкнулся с таким динамичным, действенным, сюжетно-драматичным Боттичелли.

Новое, новое, все время что-то новое, впервые виденное, неожиданное...*

В Испании это на каждом шагу.

И все же, если вы спросите меня, что же мне в этой стране — в общем-то не поражающей красотами природы, без лесов, с сухими, желто-красными, поросшими оливами равнинами, с агавами на юге, с пальмами, с горами, но не ахти какими, с нищеватыми деревушками — если спросите, я отвечу — именно она, с этими сухими равнинами, не ахти какими горами, но зато городами... И не музеи, с собранными в них сокровищами, о которых я только что перед этим говорил (они прекрасны, но все же есть еще и Лувр, и Эрмитаж, и Британский музей, и Мюнхен, и Ватикан, и... и... и), а эти тесные, запутанные, вьющиеся в гору улочки Толедо, решетки на севильских окнах, ослепительная белизна южных домов с синими тенями, прохладные галереи вдоль улиц, барселонские фонари (на Пласа-Реаль самого Гауди), бронзовые воины на ко-

* Под большим секретом (потому и в сноске) — стоять перед впитавшимся в тебя с детства поленовским «Московским двориком» или Саврасовым в парижском Гран Палэ — не меньшая радость, но это уже не только область искусства.

нях и штатские господа с бородками или с мольбертами в руках — Веласкез, Мурильо, Гойя (в Союзе одному только Репину памятник, и спроси москвича, где он стоит, — не ответит), кокетливое изящество и бравада тореадоров, и доброжелательность шоферов грузовиков — одно удовольствие их обгонять, всегда махнет рукой, когда можно — и лимонад не со льдом, а со снегом, который долго не можешь высосать через соломинку — одним словом, Испания! Каталония, Андалузия, Кастилия... Только с кухней она нас не порадовала — уж больно соленая, — да и ресторанчики мы выбирали подешевле, и меню всегда было загадкой.

Ну, а трудящиеся? Трудолюбивый, героический, талантливый испанский народ? Испанцы, испанки? Если одним словом ответить — понравились. Даже полицейские — столкнувшись, разошлись по-доброму. А вообще-то Иберийский полуостров, как мы знаем, отнюдь не един. Все жаждут автономии, а то и полной независимости. Это модно. Каталонцы даже на машинах буквы, обозначающие страну (К вместо SP — Испания), поместили на желто-красном вертикально-полосатом фоне. И таблички с названием улиц заменили на каталонские. А в районе Аликанте (это уже не Каталония, это Левант) на всех дорожных знаках кем-то размашисто зачеркнута буква «е» в конце «Аликанте» и «и» заменено «а» — Алакант. Тоже чего-то хотят. В Страну Басков — мы собирались возвращаться через Бильбао и Сан-Себастьян — нам попросту настоячиво рекомендовали не заезжать. Увидят французский номер на машине, побьют стекла. Совсем недавно там были беспорядки, даже границу с Францией пришлось закрыть.

Испания демократизируется. И довольно быстро. Спортсменского вида, широкогрудый король оказался прогрессивным. Даже слишком, как считают некоторые. Сидящий внутри его антифранкизм (генералиссимус не очень-то его жаловал) потянул его вдруг в Ки-

тай, говорят, и в Советский Союз собирается. Но так или иначе, Испания купается (а, может, скорее барахтается) в своей заново приобретенной свободе, которой, как всегда, не хватает. Разрешили партии, автономию, упразднили цензуру, а вот с терроризмом не знают, что делать. Но разве только Испания?

Я задаю себе (да и не только себе) вопрос — а что было бы, если б победили не франкисты, а республиканцы? В ответ пожимают плечами. Вряд ли было бы лучше. Кто кого больше расстреливал в ту войну, трудно сказать, но известно, что Франко открыл границу всем бежавшим из Германии евреям («тс-с... А вы знаете, что сам Франко еврей? Да, да, это точно, уверяю вас...») и вообще обманул самого Гитлера — тому не удалось по-настоящему втянуть Испанию в войну, как Италию, например («Голубая дивизия» была скорее символом, чем реальной силой). И на поклон к нему не ездил — встретились, как равноправные, где-то на границе Испании и Франции.

Нет, победы республиканцы — те самые, в рядах которых было столько прекрасных, честных, искренних людей, — другие, не прекрасные и не честные, превратили бы Испанию в то, во что они умеют превращать любую страну. В Испании нет, увы, своей Воркуты и Колымы, но была Сахара со своим климатом. А кандидаты нашлись бы. И в немалом количестве. И не было бы шумной, веселой, разноязычной Пласа-Маойр в Мадриде, и всех этих укромных, милых таверн, и запретили бы бой быков, и монастырские земли превратили бы в совхозы (а монахов — в Сахару), и секретарь компартии Гранадской волости требовал бы от колхозников выполнения плана, и все вместе без конца благодарили бы партию и правительство за счастливую жизнь. И на всё это взирал бы гигантский, с рукой вперед, Ленин на месте никому не нужного Дон-Кихота со своим Санчо Пансой на пло-

щади Испании, переименованной в площадь Ленина, или Сталина, или Долорес Ибаррури.

Чего только могло ни случиться за эти сорок лет? Могла и Стена появиться. Мадридская Стена... Нет! Советские танки все же далеко. А без них Стену не возведешь.

Три слова об Андорре и на этом закончим наше путешествие. С Андорры мы его начали.

Мой друг Лёля Рабинович, он же писатель Леонид Волынский, как-то сострил. Говорили о перенаселенных супергигантах — Китае, Индии, СССР, США, — и тут он, перефразируя царских жандармов, сказал: «Ох, хорошо бы скомандовать -- больше трех миллионов не собирайся!» Действительно, хорошо было бы. А меньше еще лучше.

Может, поэтому я и отдаю предпочтение тому, что называется карликовыми государствами: Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино — больше двадцати пяти тысяч они не собираются. Ватикан, хотя в нем всего тысяча жителей, отбросим, особь статья.

Долины Андорры — официальное название этого со-княжества, со-principauté, расположенного в восточной части Пиренеев на границе между Францией и Испанией. Со — потому что вместо одного суверена у Андорры их два — французский президент (а до этого король, а до короля граф де-Фуа) и испанский Урхельский епископ. Им с тринадцатого века до сегодняшнего дня Андорра платит дань — символическую! — запутались в переводе дукатов и луидоров в нынешние пезеты и франки. Сколько всего андоррцев, не ясно — по БСЭ, шестнадцать тысяч, по «Statesman's Year Book», 26 558. Длинной она тридцать километров, шириной — двадцать. Вокруг горы — миллионы туристов приезжают сюда зимой кататься на лыжах.

Но не это поразило нас — ни «со», ни странный язык, смесь французского, испанского и каталонского,

ни кристальной чистоты воздух — поразило нас то, что не могло не поразить, а заодно и не вызвать лютой зависти, как у всякого нормального русского человека. В Андорре самые дешевые в мире алкогольные напитки. (Кажется, нет косвенных налогов!) Несколько цифр (в переводе на франки): во Франции поллитра московской водки — 37-40 франков, в Испании — 15, в Андорре шесть! И не поллитра, а 0,7. «Московской» мы, правда, не нашли, а купили «Иванова» и «Волкова» с роскошными двуглавыми орлами на этикетке. Долго соображали, сколько же взять — не каждый же день такое встречается! — но победило несвойственное русским благоразумие — урезали свои аппетиты. Испугала еще и длиннющая очередь машин на границе из Андорры во Францию — таможенники прекрасно знают, что французы везут в своих багажниках. Шесть франков не сорок, а француз расчетлив. К слову, в Норвегии та же поллитровка — 90 франков! И в Осло в одном только магазине, и в определенные часы. Бежать из этой страны! Или самогон гнать, чем, между прочим, норвежцы и занимаются.

Больше об Андорре ничего не скажешь — были мы в ней один день. Пробудь мы там больше, я обязательно покопался бы в ее архивах и разузнал бы всё про... царя Бориса. Да, да, был такой царь. Захватил в 1933 г. «андоррский трон» и сколько-то там времени процарствовал. Кто он? Откуда? Единственное, что успел вычитать в путеводителе, — это, что фамилия его-де Скосырев...

Подведем же общий итог. За двадцать дней проделано 5680 километров. На бензин истрачено 1000 франков, на остальное — еда, резиденции, сумки, ша-ли, кинжалы, кувшины, тонна открыток и соломенная бычья голова с рогами — 5000. Говорят, не много. Года три-четыре назад было б меньше, Испания сла-

вилась своей дешевизной. А теперь — инфляция, будь она трижды проклята!

Автомобильно-дорожная сторона предприятия. И водитель, и «Ауди» сдали испытание на пять с плюсом. Зажигание, сцепление, искра и что-то там еще на шоферском языке ни разу не подвели, ни одного чиха. В Барселоне сделали нам крохотную вмятину, тут же исправленную, а в Париже покрашенную. Дороги сносные, автострад мало, главная вдоль побережья. Мы их избегали — скучно. Страстью к обгону водитель не заразился, разве что к самому концу — слишком уж много грузовиков и «караванов» (домик на колесах за машиной) на дорогах. Скорость — 100-110 километров в час. (Увы, мой верный спутник и водитель по дорогам Европы, Вова Загреба, любитель 160 км/час, в конце концов вдребезги разбил свою машину и два месяца пролежал в больнице, что не помешало ему тут же купить еще одну, на этот раз, «Фольксваген».) Единственное, чему Витька за двадцать дней никак не мог научиться, это тушению сигарет. Мнёт, мнёт, мнёт, а она все дымит. А надо спокойненько, аккуратно сбить горящий пепел и не суетиться — все само погаснет.

Взаимоотношения? Как ни странно, но лютой ненавистью друг к другу не воспылали. Чего-то там иногда вспыхивало, в основном, на ресторанной почве («Тут же три вилки изображено — знаете, сколько это потянет? И скатерти слишком крахмальные — не для нас!») — вспыхивало и тут же гасло.

Да! В подсчете расходов я забыл главное — пленку. Основная статья расходов, холодею при одном воспоминании... Отснято восемнадцать пленок! 360 кадров! Из них удостоились попасть в альбом сто с чем-то. Впрочем, великий Картье-Бресон считает, что два-три хороших снимка на пленку (36 кадров) уже хорошо. Увы, мой фотоурожай на этот раз был оби-

лен, но шедевров не дал. Штук десять-пятнадцать неплохих снимков и всё.

Правда, самые интересные у меня отобрали. Да, просто взяли и отобрали пленку. Долго не могли открыть аппарат, но открыли и забрали. И где? Не на таможне, не на границе (это меня удивило бы, но не так уж, чтоб слишком), а в музее Сальватора Дали, в Фигерос. Нельзя и точка — вот и объявление висит! Все мои пламенные ссылки на сходство с КГБ («Виктор Платонович, не унижайтесь!») не возымели никакого действия — прекрасные снимки с чудачествами прославленного мастера, которыми я мог порадовать друзей из Союза, непроявленными были брошены в корзину.

Я обиделся, купил новую пленку и злорадно отснял мусорное ведро под мраморной уличной дощечкой «Площадь Гали и Сальватора Дали»...

13

Есть люди, которые с детства любят ковыряться в будильниках, разбирать замки, возиться с разными колесиками, винтиками, не расстаются с отвертками, стамесками, гаечными ключами. Мне все это было чуждо. Я любил путешествия. И до сих пор мне кажется это самым интересным.

Так начинается вступление «от автора» к книге «Путешествия в разных измерениях», выпущенной «Советским писателем» через пять лет после опубликования в «Новом мире» моих злосчастных очерков об Италии и Америке.

Дальше идет рассказ о юности, рюкзаках и Эльбрусах, а за ним другой:

«В войну я несколько охладел к пешему хождению, но к путешествиям — нет. Будь у меня возможность, время и деньги, я б подобно Меркурию, богу

не только торговли, но и путешествий, объездил бы весь земной шар... Что может быть интереснее?»

Сейчас — это уже не из вступления — возможность и время появились (с деньгами, правда, не так уж густо), и я с радостью отдал себя во власть Меркурия.

За четыре года изгнаннической жизни я побывал в восемнадцати странах. Из европейских (по сю сторону Стены) не был только в Португалии, Дании, Ирландии и Люксембурге.

О границах уже говорил. Не замечаешь. То, что ты в Германии, определяешь по увиденному на какой-нибудь станции черно-желто-красному флагу, да *entrée* превращается вдруг в *Eingang*. Вот и всё.

О свобода передвижения! Подобно Катону с его Карфагеном, я готов каждую свою речь не только кончать, но и начинать с этого восклицания!

Свобода передвижения!

Суслов хвастался Светлане Аллилуевой тем, что никто из членов его семьи не был за границей — просто не интересуются. Ну и семейка, подумал я. А сколько раз мне говорили: «Что вы всё за границу рветесь? Мало вам Советского Союза? Жизни не хватит, чтоб весь его объездить...» Что ответишь? Живи Миклухо-Маклай не при проклятом царизме, а сейчас, ему, наверное, то же самое сказали бы: «Дались вам эти папуасы... Своих эвенков, что ли, не хватает?»

Весь мир (капиталистический!) на колесах, на крыльях, с рюкзаками за спиной. Летят, едут, идут, взбираются, купаются, ныряют, щелкают фотоаппаратами направо и налево, изнывают в музеях, храпят в палатках, сидят друг у друга на шее в бесчисленных кемпингах, рискуя взлететь на воздух (мы проезжали мимо того самого Лос-Альфакес, где взорвалась цистерна с газом протан-бутаном — словами не опишешь, черным-черно, все сгорело!)...

Мир на колесах! Хотят видеть, знать, расширять. И среди этого моря, затопившего всю Европу, загорелых, потных и свободных людей, жалким островком промелькнет сплоченный коллективчик наших, советских. То в Лувре их увидишь, то на Пер-Лашез, то в том самом «Тати», где колготки по карману. И всегда озирающиеся, ищущие друг друга. Был и я когда-то таким. Знаю. «Не позже одиннадцати! Не опаздывать! Не рассредотачиваться!» Не!.. Не!.. Не!.. Кругом провокации!

Свобода передвижения!

Свобода выбрать то место, где ты хочешь жить...

Свобода возвращения.

Всю жизнь я мечтал жить в Париже. Почему? А чёрт его знает, почему. Нравится мне этот город. Хочу в нем жить! (Ей-Богу ж, советская власть сделала мне неоценимый подарок, предоставив мне эту возможность.) И я в нем живу. И мне нравится. Прижился. Позади, далеко уже позади дни, когда я говорил себе: «Вика, остановись! Ведь перед тобой Эйфелева башня! Ты понимаешь — Эйфелева башня, Тур Эфель?.. А там вот Лувр, внутри Джоконда, Венера Милосская, можешь зайти, посмотреть, всего пять франков... Понимаешь ты это или нет? Париж! Ты в Париже!» Всё это уже позади. (А в Толедо еще говорил, и в Мадриде, Севилье, Кордове...)

Больше того, он стал *своим* городом. Я возвращаюсь в него, как домой.

И, как в свое время возвращаясь из дальних путешествий в свой родной Киев, я замечал, с радостью или огорчением, все новшества, все появившиеся или убранные киоски, выросшие дома, посаженные деревья, перенесенные остановки, я огорчаюсь или радуюсь теперь всем новшествам здесь, в Париже, в моем девятом округе, на моей улице...

Вспоминаю, каким событием было в моем детстве появление на нашей Кузнечной (виноват, Пролетар-

ской, потом Горького) улице первых пяти фонарей. Высокие, изящные, с крутой завитушкой сверху, столбы эти сиротливо и бесцельно с царских еще времен стояли по обе стороны бульвара. И вдруг в один прекрасный день какие-то дядьки по лестничкам взобрались до этих загогулин и повесили фонари. Вечером они зажглись. Сколько света! Сколько радости! Пять жалких фонарей на весь квартал. По вечерам мы выходили на балкон и любовались. Бродвей!

И сейчас, через пятьдесят с лишним лет, не в Киеве, а в Париже, я иду от станции метро по авеню де Лисе к дому, где живут дети, и с какой-то радостью (тогда была еще и гордость — вот наш Киев какой!) смотрю на то, как ставят новые фонари, асфальтируют проезжую часть, делают какие-то стоянки для автомобилей между деревьями. Что это такое? Районный микропатриотизм? «Приезжайте к нам сюда, посмотрите, как у нас хорошо...»

Ну, а в Киеве что?

Не знаю... Стена!

Иногда, очень редко, преимущественно из «Правды», кое-что узнаю. Воздвигли новый памятник Ленину — очень большой вождь, а перед ним четверо с винтовками, охраняют, что ли? Теперь на Крещатике два Ленина — у Бессарабки и здесь, на площади Калинина, которая стала вдруг Октябрьской Революции, а Всесоюзного старосту сослали куда-то на окраину. Строят второй музей Ленина. В начале Крещатика, на месте прокуратуры. Новая линия метро, с Подола. Памятник — наконец-то, через тридцать лет, — в Бабьем Яру. Что там вылеплено, по фотографии понять трудно, что-то героическое, мускулистое, уверенно смотрящее в будущее. Жертвам «временной оккупации». О национальной принадлежности — упаси Бог! — ни звука.

Вот и всё, что знаю о Киеве, городе, с которым так много связано, где каждая улица, каждый дом,

каждый фонарный или трамвайный столб что-нибудь да напоминает.

В далекие, прекрасные дни юности, когда мы с Ясей Светом издавали газету «Радио» 1979 года (Господи, через год уже!), милый наш Киев рисовался каким-то Нью-Йорком. Но детская фантазия была убога, предел нью-йоркости заключался в ста (!) линиях трамвая (тогда их было девятнадцать). Тогда же гордостью нашей был кинотеатр Шанцер (даже в Москве такого нет!), самый большой пляж (пожалуй, это так и есть), лучший из вокзалов (я его строил и очень им гордился), ну, а парки, сады — весь мир знает...

Но все это сейчас где-то далеко-далеко позади. Было и нету. Забито последующим. Последними годами, полковниками Старостиными, обкомами, райкомами, парткомами — позор Некрасову!

(Во «Взгляде и нечто», рассказывая о своих партийных передрягах, я упоминал о некоем Солдатенко — в прошлом секретаре райкома, позднее ответственном секретаре Союза писателей, с которым я перед отъездом имел беседу. Упитанный, разжиревший, он сидел в своем громадном кабинете и утверждал, что не читал и никогда не будет читать «ГУЛага» — антисоветчины он не читает...

Уже здесь, в Париже, просматривая материалы очередного украинского съезда писателей, я обратил внимание, что нигде нет фамилии Солдатенко. Ни в президиуме, ни в правлении, ни в секретариате, ни даже в ревизионной комиссии. Чудеса! Проворовался, значит... И выяснилось, что, действительно, проворовался — брал взятки за путевки в Дома творчества. Вы думаете, судили его? Как бы не так. Сейчас он директор какого-то университета культуры.)

Киев уплыл от меня. Далеко-далеко... Со всеми своими парткомами, Солдатенками, садами и парками, золотистым песочком пляжа, фонарями, каштанами, последними трамваями, доживающими свой век

где-то на окраинах. Когда нашего Вадика как-то спросили, знает ли он, где находится Киев, он ответил: «Знаю. За границей». А для меня за Стеной. Все за той же Стеной, из-за которой не доносится до меня уже ни одного голоса. Из Киева.

Последним был голос Снегирева. Но и он умолк. Все умолкли. Один за другим. Запугали, застрашали.

Господи, что же это за страна такая? За что ей выпала такая доля? И неужели конца этому не будет?

И опять-таки нет ответа.

В медицине есть такой термин — холодный абсцесс. Это нечто тянущееся, гниющее, незаживающее. Здесь, по-моему, тот самый случай. Что-то изменится, что-то смягчится, что-то, наоборот, завинтится, уйдет Брежнев, появится новый (как огня, боятся этого в Союзе — почему-то никогда не верят в лучшее), и все будут по-прежнему терпеть, выполнять, перевыполнять, обманывать, воровать и шепотом восторгаться Сахаровым или каким-то новым, дающим право думать, что не всё еще у нас сгнило...

А вдруг? А вдруг всё будет иначе? И настанут времена... Давайте же помечтаем об этих временах. Ведь мы народ романтиков, мечтателей, об этом все газеты пишут.

МЕЧТА № 1

Берлин. Потсдаммерплац. Под стеклянным колпаком нечто серое с колючей проволокой.

Экскурсовод: — Перед вами остатки того, что называлось когда-то Стеной позора. Сейчас ее нет, но кусок ее, как некое напоминание и предостережение, решено сохранить, законсервировать. А теперь прошу в автобусы. Отправимся в здание бывшего ЦК СЕПГ. Там сейчас выставка «Сталин и Гитлер, искусство одной эпохи».

МЕЧТА № 2

Пленум Центрального Комитета КПСС Информационное сообщение

22 июня 198... года, в Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялся пленум ЦК КПСС. С докладом «О выполнении и перевыполнении всех намеченных планов» выступил, встреченный овацией, Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. ...

Постановили:

Заслушав доклад Генерального секретаря ЦК КПСС о выполнении и перевыполнении всех планов, признать линию партии правильной. Учитывая сложившуюся ситуацию — выполнять больше нечего, всё выполнено — считать существование Коммунистической партии нецелесообразным и нерентабельным, а потому распустить ее.

Москва, Кремль, 22 июня 198... г.

МЕЧТА № 3 вырисовывалась, как всенародное ликование после опубликования Информационного сообщения, но, поскольку в этот день упились все и автор в том числе, восстановить картину невозможно.

14

Я один. Совсем один. Все разъехались. Семья — четверо в одной «Ауди», не считая собаки, — на юг, к морю. Друзья-иерусалимцы, а в прошлом киевляне, — на восток, туда, куда дальше на восток не пускает Стена.

Я один. В пустом Париже. Тишина, покой. Никуда не торопись (к телефону в том числе), не решай неразрешимых семейно-бытовых проблем (главная — куда деваются деньги? Совершенно непонятно), вста-

вай, когда хочешь, укладывайся спать, когда вздумается, лежи и читай, сиди и пиши. Думай. Вспоминай. Размышляй о бренности существования, глядя в окно на ставни противоположного дома. Хотелось бы бескрайнего неба с клубящимися, розовыми от заката облаками и голубую полосу дальнего леса, но, ей-Богу, и в парижских ставнях своя прелесть. Им — из моего окна — лет сто, а может и больше. Как и всей улице, не изменившейся со времен Мопассана и Бальзака. В трех или четырех кварталах от меня, на улице Дуэ, жил когда-то Тургенев у Полины Виардо. И Гюго, и Густав Моро, и Ренуар, и Ван Гог, позднее — родоначальники сюрреализма: Бретон, Арагон, Превер, Дюамель — все они жили, писали, встречались, ссорились, мирились именно здесь, в моем девятом «аррондисменте», на соседних улицах. А дальше, выше, ближе к Монмартру — пляс Пигаль, та самая...

Вот и сижу. И пишу. Поглядываю на ставни. Они белые, с жалюзи — в Париже почти все такие, — большинство из них закрыто, парижане еще не вернулись с юга. А надоест смотреть на ставни, смотрю прямо перед собой, на стену. Это другая стена. Прекрасная. Фотографии, рисунки.

Внизу — мама. За вечерним чаем. На Крещатике 15. Сидит в своем кресле. Любимая поза, когда слушает, — сложенными руками подпирает подбородок. Беседует с кем-то из гостей. Все пьют чай. С вареньем. В открытую дверь видна спальня — карта Парижа во всю стену, на ней портрет Жана Габена...

Над мамой — панорама Киева. Тылы Большой Житомирской, заросшие кустарником холмы и овраги, вдали силуэт Андреевской церкви, шпиль «замка Ричарда Львиное сердце» — когда-то мальчишками играли мы во дворах его в «сыщиков и разбойников».

Над Киевом — сталинградская передовая. 1950 год. Пусто, голо.

И много-много еще фотографий... Иван Сергеевич прикуривает трубку. Огонь спички озаряет его горбоносое, с опущенными на трубку глазами лицо... Лёля Рабинович у приемника ВЭФ, закинув за голову руку, чуть хмельной, слушает, по-моему, «Болеро» Равеля... Исачок Пятигорский, любимый Исачок, самый умный, самый добрый, самый верный из моих товарищей. Никого из них уже нет — ни Ивана Сергеевича, ни Лёли, ни Исачка. О них потом. Для друзей. Для себя.

Вверху слева — Ваня Фищенко, лихой мой разведчик. Шарж, морда бандитская, с цыгаркой во рту. В Париж бы тебя, а?

В маленькой металлической рамке Славик Глузман. Кудрявый, совсем еще мальчик... За плечами уже шесть лет лагерей. А впереди, если выпустят, еще пять ссылки... Мама не дождалась — умерла...

Алик Гинзбург... Бородатый, с ребятишками своими. Подарил мне это фото в последний раз, когда мы виделись. На квартире у Наталии Солженицыной — Исаич был уже в Цюрихе. Звонил оттуда. И все были тогда веселы. И веселее всех Алик.

И еще много, много фотографий. И рисунков. Сохранившиеся моего брата, ультра-левые, абстрактно-футуристические. Талантлив был, а нигде никогда не учился. Семнадцать лет...

И крохотный, свешивающийся с лампы Мессершмит — Me-109. Медленно крутится на нитке, пикирует.

Все это — прошлое. Разное. И чай с вареньем, и Болеро, и братские могилы... И настоящее. Невеселое. Славик Глузман, Алик...

И между нами Стена.

Раньше она называлась Железным занавесом. В советской транскрипции обязательно в кавычках и с предварительными «якобы». Сейчас это реальность

в 165 километров длиной. В самом центре, самом сердце Европы.

А теперь закройте глаза и представьте себе на минуту следующее:

Вы выходите из центрального Телеграфа — посылали кому-то телеграмму — и направляетесь вверх, по улице Горького, допустим, в редакцию «Нового мира». Идете себе, не торопясь, покуривая. Мимо «Мехов», Моссовета — направо Юрий Долгорукий на своем коне, Институт Ленина. Глазеете по сторонам. Но народу почему-то все меньше и меньше. И троллейбусов нет, машин. Миновали Малый Гнездиковский, подходите к Большому и... Из Большого Гнездиковского лезет Стена. Высоченная, метра три, а может быть и больше, гладкая, серая, сверху на распорках в виде буквы «V» колючая проволока... Вылезает из переулка, тянется вдоль тротуара, потом под прямым углом через улицу Горького и упирается в ВТО...

Стоп! Дальше нельзя!

За стеной пустырь... Нет Пушкинской площади, садика, памятника. Пустырь. До самого здания «Известий». А от «Известий» до сберкассы вторая стена. А посередине ничего, ровно, бурьян. И в два ряда, с этой и той стороны, то есть в четыре ряда — стальные ежи. Там, где был памятник, — вышка. И там, где раньше стоял Пушкин, — тоже вышка. И на ул. Чехова тоже вышка. Везде вышки...

Страшный сон. Кошмар. Бред. Кафка...

Вот так и ходит пожилой берлинец по своему Берлину. Когда-то, молодым, назначал свидания на Потсдаммерплац. Под часами на высокой башне регулировщика, хотя на крохотном этом островке и повернуться было негде. (Сохранилась только открытка — трамвай № 72, пятый номер двухэтажного автобуса, кто-то под самыми часами торопливо влезает в

открытую машину, на часах двадцать минут второго...) Потом гуляли по Тиргартену, через Бранденбургские ворота выходили на Унтер ден Линден...

Аккуратненькой трапецией с закругленными углами окружает Бранденбургские ворота четырехметровая, новая, гладкая, бетонная, вместо прежней грубой, из шлако-блоков, Стена. Налево, мимо Рейхстага, к Инвалиденштрассе, к стадиону им. Вальтера Ульбрихта (а в Москве улица такая есть, и живет там мой друг по имени Юлик), направо, к тому самому Чекпойнт-Чарли, вдоль заросшего чертополохом пустыря, где была когда-то Имперская канцелярия, к Потсдаммерплац и дальше. И от Травемюнде, от Любекской бухты до Рудных гор Чехословакии, до города Аш, всё вышки, вышки, колючая проволока, пулеметы, самостреляющие установки. В маленьком целлофановом конвертике (приобрел у Стены) металлический кубик $0,5 \times 0,5 \times 0,5$ см, один из ста десяти таких же кубиков, который вопьется в тебя из самострела М-70, если отважишься пересечь границу... 1578 — запомните эту цифру — 1578 таких смельчаков нашлось за один только первый семестр 1978 года, не побоявшихся смерти, лишь бы вырваться. И еще 3764 были проданы Западной Германии за деньги, за валюту*. А всего бежало на Запад за всё существование ГДР — три миллиона человек! Единственная страна, в которой население уменьшается. С 19 миллионов упало до шестнадцати.

Вот так и живут берлинцы. Старики вспоминают часы на площади, где теперь пустырь с дикими кроликами (а может, и то, как кричали «Хайль», вытянув руку вперед), тридцатилетние отцы семейств помнят, что в их детстве Стены еще не было, и можно было... Ну, хотя бы сесть в метро и проехать из одного конца города в другой. А дети их, появившиеся на

* По сведениям западноберлинского «Комитета 13 августа».

свет одновременно со Стеной, уже бредутся, тайком покуривают, вспоминать им пока не о чем.

О чем же они думают? Отцы и дети.

И те и другие — представить только, два поколения! — родились уже при оккупации. Тридцать три года в их стране чужие войска, казармы победителей. Состояние войны не кончилось. Мир не подписан. Тридцать три года...

Так о чем же они думают? Отцы эти и дети? По эту и по ту сторону Стены?

По ту, именуемую Германской демократической республикой... Одни бегут, другие стреляют по этим бегущим, третьи смотрят западное телевидение, читают «Neues Deutschland» и вздыхают, не зная, что отвечать, когда сын спрашивает, правда ли, что есть две немецкие нации — западная и восточная.

А по эту сторону? Бежать некуда и незачем*. Читают, что хотят, пишут, что хотят, почему-то не бастуют, за кружкой пива осуждают или не осуждают Баадера со товарищи, а о Стене... Ох, боюсь, что уже привыкли. Не утверждаю, но боюсь. Возмущаются, негодуют, а она всё стоит и стоит, семнадцать лет стоит.

Что ж — стрелять по ней, атаковать ее? А детант? Не начинать же гражданскую войну, немец на немца? И гражданскую ли? Всемирный пожар.

И другое я слышал, упоминал уже об этом. Любим мы или не любим Хонекера, но понять его можно — убери он Стену, и опустеет его Германская, та самая демократическая республика. Хрущев это давно понял.

* Впрочем, читал я в газетах, что один такой нашелся. Трижды перебирался через стену. С Запада на Восток. Трижды его хватили и сажали в психушку. ГДРовцы, конечно. Потом им это надоело и обратились к ФРГшным властям — заберите его, наконец, нам он осточертел. А за лечение заплатите, даром ничего не делаем.

И стоит Стена, рассекает нелепыми своими выступами, зигзагами город, страну, весь мир, рассекает надвое. И у подножья ее кресты.

Дитер Вольфарт... Герда Бланк... Ганс Дитер Везер... Аксель Ханнеманн... Эрн Кельм... Хорст Франк... Ольга Зеглер... Аксель Брюкнер... Оттфрид Рекк... Вернер Пробст... Гюнтер Литфин... Рольф Урбан... Лотар Зеннманн... Школьник Берндт — 13 лет...

Их убили. Им не удалось преодолеть Стену. Пятьдесят четыре человека! (А тех, кого пуля миновала, — три тысячи — в тюрьму!) Имена этих пятидесяти четырех несли на плакатах мимо Стены те, кто привыкнуть к ней не может, те, кто по мелочам (мелочам ли?) собрали обвинения, хранящиеся в музее у Стены. Те, у кого Стена проходит через самое сердце...

Мир разделен, разрезан, разорван, растерзан надвое.

Но и там и там живут. Кто как может. Одни хорошо, но говорят, что плохо. Другие плохо, но говорят (не думают, упаси Бог), что хорошо. Третьи ничего не говорят — стреляют. Четвертые подают им патроны. Пятые только говорят, по бумажке или без. А остальные? В каждом мире по-своему, но живут...

Я жил в обоих мирах. В одном долго, в другом только начал. Одному отдал всё, что мог отдать: молодость, мечты, устремления, в какое-то время даже веру, к другому только присматриваюсь.

— Ты о прошлом не жалеешь? — спросил меня как-то мой друг.

— Нет, не жалею.

— И об ошибках тоже?

— Тоже. Они всегда чему-то учат.

— А я жалею, — сказал мой друг. — Я считаю, что у меня прошлого нет. Я учился, работал, воевал и, кажется, не хуже других, вырастил и выдал замуж дочерей и только сейчас, на склоне лет, понял, что начал жить. У меня теперь своя страна, я ей нужен.

Я могу принести ей пользу. Там я не знал, кому я приношу пользу. Поэтому у меня нет прошлого.

На этом разговор кончился. Ни один из нас не пытался убедить другого. У одного не было прошлого, но теперь нашлась своя страна. У другого прошлое было, но страну свою он потерял. А может, она его? А может, никто никого и не потерял? Только разъединили...

И всем друзьям своим, по обе стороны Стены — и тем, кто многим рискуя, будет читать эти строки, и тем, кто заходя в книжный магазин, теряется, не зная, за что ухватиться, — всем близким и далеким друзьям хочется повторить — доживем еще! И не такое было...

Себе же пожелаю — в тот радостный, светлый день протиснуться сквозь тысячную толпу в зал Мьютьюалитэ, подняться на сцену и пожать руку Эдуарду Кузнецову... И обнять Славу Глузмана... И выпить свои сто грамм с Аликом Гинзбургом... И слушать экскурсовода у обломка берлинской Стены, положить затем цветы у памятника Солдату в Тиргартене, на аллее 17 июня, потом пройти под Бранденбургскими воротами, выйти на Унтер ден Линден, сесть в кафе, заказать чашечку кофе с венской сдобой и попросить газету с Информационным сообщением ЦК КПСС...

Пока же — *dum spiro, spero*, как говорили древние римляне — пока дышу, надеюсь. Помечтаю об этом. В парижском кафе, где-нибудь на бульваре Сен-Жермен. Париж еще пуст. И я один. Торопиться некуда...



На внутреннем дворике Русского музея (Ленинград). В глубине — статуя Александра III.

МРАМОРНАЯ КРОШКА

(БЫЛЬ)

То ли это был съезд писателей Украины, то ли просто собрание киевской интеллигенции, посвященное единодушному одобрению очередного исторического пленума, так или иначе, но пришедшие в тот день в зал Верховного Совета были слегка обескуражены.

— Видал? толкнул меня в бок один из сидевших рядом со мной интеллигентов, из фрондирующих.

— Что?

— А ты посмотри.

— Куда?

— Да прямо. За спиной Корнейчука.

— Ничего не понимаю.

— Вот дуреха. На нишу глянь.

Я посмотрел и обомлел. В нише, за спиной как всегда сладко и фальшиво улыбающегося Александра Евдокимовича, стоял Ленин. В прошлый раз, когда нас здесь собирали, там стоял Сталин. Теперь Ленин.

Удивительного в этом было не так уж много. Совсем недавно состоялось выдворение отца народов из мавзолея и по всей стране широким фронтом шла борьба с его изображением. Сносились памятники или, как тогда они скромно назывались, скульптурные портреты вождя со всех площадей, проспектов, улиц, железно-дорожных станций, с мо-

нументальных арок шлюзов Волго-Дона и Москва-Волги, с Выставки Передовых Достижений, со всех панно, барельефов, плакатов. Лауреатам Сталинских премий велено было поменять свои медальки с профилем корифея на другие, с лавровой веточкой... А как-то, в метро Киевская, в Москве, проходя мимо мозаического панно, изображающего Ильича в момент провозглашения им „великой социалистической революции, о которой так много говорили большевики“, я невольно почувствовал на себе некий магнетический взгляд. С красного знамени, развевавшегося за спиной Владимира Ильича, на меня глядели два красных глаза над красными усами. Дзержинский и Свердлов, прижавшись друг к другу, уступали место первому соратнику, следов которого нельзя было уже обнаружить, остался только зловещий контур, глаза и усы. Через неделю возле мозаики был сооружен забор, а еще неделю спустя сверлящие глаза исчезли, камешки переложили.

Такова была ситуация в стране.

В перерыве интеллигенты пошущукались, похихикали и, выпив в буфете свои сто грамм, к вечеру разошлись по домам. Ленин с завистью провожал их из ниши слепым мраморным взглядом.

Пересекая парижскую площадь Вандом я всегда задираю голову и смотрю на кажущуюся такой маленькой фигурку, венчающую колонну.

О слава, слава, думаю я, глядя на бронзовые изваяния великого императора, как быстротечна ты, как мимолетна, изменчива и капризна. И сколько суеты вокруг...

Вандомская колонна...

Великая армия! Победы Наполеона! Аркольский мост, Египет, Моренго, ядра и пушки Аустерлица из которой вылита она. Величественная, трагическая судьба.

Недавно попалась мне в руки книга под назва-

нием „Вандомская площадь”, толстая, с множеством картинок и старинных гравюр. Теперь я все знаю.

Когда-то называлась она площадью Людовика XIV Великого или площадью Завоеваний. И в центре ее, в присутствии самого Короля-Солнца, воздвигнут был памятник. Красивый как Бог, в римских доспехах и пудренном парике, что в свое время вызывало улыбку, король властной рукой сдерживал строптивного коня. Но не прошло и ста лет, как его свергли взбунтовавшиеся санкюлоты. И осталась от Короля-Солнца только одна бронзовая ступня в римской сандалиии, бережно хранящаяся сейчас в Лувре.

Какое-то время площадь, переименованная в площадь Пик, пустовала. Осиротевший пьедестал служил иной раз театром для пышных погребальных церемоний героев Революции.

Со временем Конвент принял решение воздвигнуть на этом месте колонну, восславляющую Францию. Но только при Консульстве проект начал осуществляться. 14 июля 1800 года, в день годовщины взятия Бастилии, министром внутренних дел Люсьеном Бонопартом, в торжественной обстановке, был положен первый камень в основание будущей колонны. И вот тут-то Наполеона, тогда еще генерала Бонопарта, победоносно завершившего Итальянскую кампанию, вдруг осенило. Увидев в Риме колонну Траяна, символ великих побед римского императора, он вознамерился целиком перенести ее в Париж, на место Траяна водрузив Карла Великого. Статую его, сидящего на троне, специально привезли из Экс-ан-Прованса. Но события тем временем бурно развивались. Пока соображали, как доставить из Италии во Францию мраморную колонну, молодой генерал успел стать императором и после победы под Аустерлицем ему пришла в голову новая гениальная мысль — из пушек и ядер великой битвы

отлить колонну, копию траянской, как символ его, Наполеона, побед... Подписан был указ и началось строительство. А через четыре года бронзовый император в лавровом венке и римской тоге, милостиво глядел на простершийся у его ног Париж с высоты сорокаметровой колонны в день ее открытия 15 августа 1810 года.

Но еще через четыре года пришли союзники и пришлось завоевателю Европы уступить место белому стягу с бурбонскими лилиями. А тому, в свою очередь, в период Ста дней — трехцветному, синебело-красному.

И только через шестнадцать лет, в 1831 году, по велению короля Луи-Филиппа, Наполеон вернулся на свое место. Но на этот раз не в римской тоге, а в простом походном сюртуке и треуголке, каким помнили и любили его ветераны былых походов. Племяннику же великого императора, Наполеону Ш, одеяние сие показалось прозаичным и фигуру сменили на новую, обрядив по-прежнему в тогу. Прозаичного же перенесли на площадь Курбвуа, ныне Дефанс.

Но на этом не кончилось. Только началось. Началось главное. Парижская Коммуна. Свергнуть тирана! И тирана, и колонну! Поручили прославленному Курбэ, ярому коммунару. Площадь усеялась обломками. Но на второй же день после взятия Парижа (и на пятый после свержения), версальцы издали приказ о восстановлении колонны. И поручили тому же Курбэ...

И стоит с тех пор, на той же колонне, третий Наполеон. Склеенный, реставрированный и снова в венке и тоге, и на него-то я и задираю голову, когда прохожу по Вандомской площади.

Ну, а тот, в походном мундире? Тоже досталось. Пруссаки собирались, овладев Парижем, проволочить его на веревке до самого Берлина. В самые последние дни осады, мэр Парижа Араго и Префект

полицейский Кератри неожиданно отдал приказ — статуя срочно демонтировать и переправить в Отель Инвалидов. На плоту, по Сене. Бой помешали и императора в сюртуке бултыхнули в Сену. И пролежал он там, на дне, всеми забытый, сорок лет. Только в 1911 году вспомнили, выудили и водрузили на почетное место в Отеле Инвалидов, том самом, где покоятся в порфириновом саркофаге останки Наполеона.

Такова история многострадальной колонны, украшающей и поныне площадь, носящую имя незаконного сына Генриха 1У, Сезара де Бурбон, герцога Вандомского, женившегося по высочайшему указанию на дочери короля, своей сводной сестре.

Суэта сует и всяческая суэта... Сколько зависти, интриг, корыстолюбия, тщеславия, любви и ненависти сплетается вокруг имен людей, признанных Историей великими.

И проходя по площади, историю которой я только что поведал в самом сжатом изложении, я невольно мысленно переношусь в град Петров. Медного всадника, и того, у Инженерного замка, вихри революции пощадили. Даже Николая Палкина возле Исаакия не тронули. А вот на Александра III почему-то обиделись. Сначала обозвали „пугалом”, как окрестил его в своем полуграмотном четверостишии, высеченном на пьедестале, Ефим Придворов, он же Демьян Бедный, а потом взяли и снесли. Не понравился кому-то из отцов города, возможно, самому Жданову. И сослали во двор Музея Русского искусства, того самого, который носил когда-то его же, Александра III, имя. И сидит он там до сих пор на своем тяжеловесном коне — одно из лучших произведений талантливейшего скульптора Паоло Трубецкого — вот уже сколько лет скучает в замусоренном музейном дворе и можно было его видеть

сквозь решетку, а теперь, говорят, досками забрили — нечего глазеть...

И в Киеве есть свой скучающий царь, тоже во дворе музея, тоже Русского искусства — Александр Второй. Стоял когда-то у входа в Купеческий сад, на Царской, потом III-го Интернационала, потом Сталина, а теперь Ленинского Комсомола площади и тоже кому-то стал мозолить глаза, и препроводили его в крохотный тесный двор музея, где случайно и обнаружил его, Царя-Освободителя, убитого сто лет назад фанатиком, невольно ставшим прародителем нынешних террористов.

Вряд ли они вернуться на свои места, эти цари. Не до них сейчас. Впрочем, в Восточном Берлине, „Старый Фриц” — Фридрих II, вернулся вдруг на Унтер-ден-Линден, на то же самое место, где когда-то стоял. Я видел его. Говорят, сам Хоннекер велел. Велел же Сталин всех Кутузовых и Суворовых когда надо вспоминать. Только Скобелева почему-то обошел.

Неисповедимы пути тираньи...

Пришел ко мне как-то Толя, скульптор. Усталый, невеселый. Потребовал чаю, водки он не пьет, стал жаловаться на жизнь. Заказов нет, конкурс на памятник Воссоединения второй год уже тянется, в Худфонде отказали в инструментах, распределили среди боссов. Одним словом, хреновина сплошная.

— Нужен мне мрамор. Задумал одну штуку. Рыскаю по всему городу, с огнем не сыщешь. Клянчил на Байковом кладбище, заломили такую цену, что хлопнул дверью и ушел.

— Постой, постой, Толя, — перебил его я. — Кажется, я могу тебе помочь. Ты в универмаг на площади Победы не наведывался?

— В универмаг, на площади Победы? Нет, а что?

— А ты загляни.

— Зачем?

— Сходи во двор, посмотри по сторонам, потом доложишь мне.

— Не понял.

— Сходи, сходи, есть там, говорят, кое-что интересное тебя.

— Мрамор?

— Вроде.

— В универмаге? Мрамор? Ты спятил.

— Да не в самом универмаге, а во дворе, говорят тебе, вот бестолковый. Могу с тобой сходить, если хочешь.

— Хочу.

И мы двинули.

Пришли. У ворот сторож. Куда? Есть дело. Какое? Сунули трояк, пустил.

Двор как двор. Доски, ящики, ворох картонных коробок, мусор, грязь, облезлые коты. Был обеденный перерыв. В углу, у стены, примостившись на длинном ящике, четверо работяг раздавливали свою поллитровку. Увидев нас, хмуро покосились, но занятия своего не прервали.

Мы подошли, „приятного аппетита”, сказали.

— Вам что, хлопцы? — а сами усердно чистят колбасу, то ли украинскую, то ли краковскую.

— Где же это вы такую закуску достали? — спрашиваем.

— А что, давно не видели?

И только тут я увидел, на чем они свое лукуллово пиршество устроили. Сквозь наспех сбитые доски длинного ящика, на котором они примостились, на меня глядел никто иной, как сам отец и учитель. Я толкнул Толю в бок — глянь-ка. Тот обомлел.

Работяги весело смеялись.

— Вот за него и пьем, сердешного. За упокой души, так сказать...

И выпили. Хрякнули, принялись за колбасу. А мы, как замороженные, не могли оторвать глаз

от белевших сквозь щели мраморных маршальских регалий — погон, орденов, дубовых листьев на фуражке, от руки, опирающейся на какую-то тумбу.

— Может, и вы хотите помянуть старика?

Естественно, с нами была поллитровка, так, на всякий случай. И мы подсели.

Разговор о покойнике, на гробу которого мы мирно расположились со своей трапезой — сука, мол, сука, народу перевел, не считаешь, но порядок при нем все же был, не то, что при нынешних пердунах — постепенно перешел на более животрепещущие темы — где что достать, как кого обмануть.

Расправившись с колбасой, оказавшейся венгерской и содержимым бутылок, работяги стали прощаться, как никак рабочий день, а мы начали сообщать, как овладеть содержимым ящика.

— Придется тебе, Толечка, к директору универмага направиться. Его никак не миновать.

— Придется, — вздохнул Толя и посмотрел на часы, до закрытия было еще далеко.

— Жду тебя вечером с докладом.

— Жди, — уныло ответил Толя.

На этом мы расстались.

Прошло дня три, четыре. В тот вечер Толя не пришел, на следующий явился. Сияющий.

— Можешь поздравить!

— Да ну!

— Так точно. Сделка сделана. По всем правилам. С приложением печати.

Он бережно вынул из бокового кармана достаточно уже помятую, вчетверо сложенную бумажку.

Я прочитал и не поверил своим глазам. На бумажке было написано:

Справка

Дана сия товарищу такому-то, в том, что такой-то (имя, отчество, фамилия, профессия, адрес, телефон) приобрел за наличный расчет столько-то кило-

грамм мраморной крошки, отпущенной ему универмагом „Прогресс” из расчета столько-то рублей за килограмм крошки, уплатив итого столько-то рублей ноль-ноль копеек.

Директор универмага „Прогресс”

Подпись — не то Коломейченко,

не то Бакалейщиков.

Киев, дата, круглая печать.

Я только переводил глаза с бумажки на Толю, с Толи на бумажку.

— Вот это действительно, сик транзит gloria мунди, — выдавил я, наконец, из себя. — Крошка! Не больше, не меньше, как крошка... Удавиться...

Толя весь трясся от хохота.

Представляешь, этот хмырь долго не мог решить, как написать — бой или крошка. Все колебался. Бой, похоже на битву. Неловко как-то... Сталинградская битва, Курское сражение, бои в излучине Дона. И вдруг осенило — крошка, мраморная крошка... Гений, ничего не скажешь.

Все обошлось в какую-то смехотворную сумму, не помню уже, какую — то ли тридцать, то ли триста рублей. По случаю удачной сделки тут же побежали в гастроном.

Через неделю ящик со всеми предосторожностями был внесен теми же работягами за приличное вознаграждение плюс поллитровка в толину мастерскую. В тот же вечер праздновали новоселье. Собралось человек десять художников и скульпторов, пьянствовали до утра. Сначала обсуждали, что дальше делать с „крошкой” — пилить ли, отсекать, сохранить ли голову — потом переключились на политику, Хрущева, собственные дразги, к утру вконец изнемогли и завалились спать.

На этом поставим точку.

И вот, столько лет спустя, проходя по Вандом-

ской площади, я неизменно задаю себе вопрос — стоит ли быть завоевателем, императором, отцом и учителем, гением всех времен и народов?

Вряд ли. Уж больно хлопотно после смерти.

ДЕВЯТОЕ МАЯ

Продрав глаза, Карташов протер их еще раз, два и так и не смог понять, что же это за комната, в которой он лежит на диване, прикрытый мягким, клетчатым пледом. Спал он в измятой рубашке и трусах, штаны валялись на полу, одна штанина на изнанку. Значит, крепко поддал. Обычно, даже при порядочном подпитии, он аккуратнейшим образом все развешивал на спинку стула, сначала брюки, затем рубаху и поверх всего пиджак. Пиджака он не обнаружил. Туфли валялись в противоположном углу.

Окно было занавешено тяжелой портьерой. Ночь или день? Не ясно. На часах без пяти шесть. Утра, вечера?

Он включил свет, кнопочка оказалась над самой головой и, приподнявшись на локте, огляделся по сторонам. Комната была небольшая, сплошь увешенная фотографиями. Разобрать, что на них изображено, было трудно, только лицо молодого человека на портрете над столом показалось вроде знакомым. Улыбающийся, стриженный под бокс парень, в немецкой форме, на груди Железный крест. Хозяин, что ли?

Перебрал, гад чертов, перебрал-таки... Напрягся, попытался сосредоточиться, восстановить ускользающую цепь событий.

Последнее, что он помнил, это как они пили с этим сталинградским летчиком — Дирк, что ли, или Дитрих — и тот усиленно зазывал его к себе, в Гамбург. „За полчаса доедем, пятьдесят километров, чепуха...” Может, он сейчас в Гамбурге, у этого самого Дирка-Дитриха? Но как они ехали, сидели в машину, как приехали? А приехавши, вероятно, опять же пили...

Прощался ли он с хозяевами? Уславливался ли о чем-нибудь? И где все остальные? Где чемодан?

И вдруг обнаружил, что на ночном столике у изголовья стоит стакан, а рядом очищенный мандарин. Стакан не пуст. Понюхал. Хо-хо! Позаботились-таки милые люди... Впрочем, Дирк-Дитрих сколько-то там лет провел в плену, русские повадки знает. Повидимому, он-таки у него.

Встал. Не очень-то уверенной походкой подошел к окну. Приоткрыл шторы. Светает. Или смеркается. Людей на улице нет, воскресенье, что ли.

Вернулся к ночному столику. Малость поколебался, но стакан все же осушил. Дурной признак, но что поделаешь.

Направился к двери, приоткрыл. Столовая. На столе бутылки, — значит, пили все-таки, — тарелки с чем-то недоеденным. На диване человек, прикрытый пиджаком, ноги голые. Похрапывает.

Карташов обошел вокруг стола, задел и уронил стул. Человек проснулся. Заморгал глазами. Матюкнулся. Это был-таки Дитрих-Дирк, сталинградец.

— Ничего себе... — сказал Карташов.

Сталинградец сел, похлопал себя по впалому животу — хар-р-рашо!

— Что ж хорошего? Голова трещит.

— Пить надо, вот что...

Сталинградец напялил пиджак на голое тело, встал и подошел к столу.

— Коньяк, „Столичная“, „Смирновская“. Хо-хо!

— Слушай, Дирк, а я думал, что ты немец, а выходит...

— Почему Дирк? Я не Дирк...

— А кто?

— Хельмут.

— А кто же Дирк?

— Дирк хозяин. Вчера пили у него. Это он выставку придумал.

— Господи, — выдохнул Карташов. — Тогда пошли. За Дирка!

Как выяснилось, было действительно раннее утро. И воскресенье. Потому и улицы пусты. А когда же заснули? Долго ли еще перед этим пили, а, Дирк? Виноват, Хельмут...

Постепенно картина вчерашнего дня прояснилась. Вернисаж прошел хорошо. Даже очень, как утверждал Хельмут. Народу собралось человек двести, а то и больше. Это очень много для маленького Люненбурга. И речей много. Директор галереи, бургомистр, президент или как его там, ланда, (земли, по-русски), секретарь облисполкома или обкома даже. И писатель, приехавший из Парижа, тоже...

— Кстати, куда он делся? — поинтересовался Карташов. — Его все время оберегали, чтоб не выпил лишнего.

— По-моему, не уберегли, — Хельмут рассмеялся. — Он сразу же утащил одну бутылку в ванную и время от времени скрывался там... Он у Дирка спит, надо думать.

После третьей или четвертой рюмки выяснилась еще одна немаловажная деталь. Оказывается, Карташов, несмотря на обильное возлияние, а может быть, благодаря ему, умудрился все же реализовать несколько картин. Пять, кажется. Маленьких, правда, но по тысяче марок за штуку, не так уж плохо.

Выпили за успех.

— Да! — спохватился вдруг Хельмут. — Я ж обещал подарить тебе один подарок... Минутку.

На столе появилась папка. В ней фотографии. Бутылки временно были отодвинуты.

— Вот, пожалуйста. Это мой „Фокке-Вульф” — 189. Вы называли „рама”. Рекогносци...ро-вальщик. А это я. Молоденький еще, а? Мальчик... А это ваш Мамаев курган.

— А ну, а ну?

— Снимал в октябре. Ты был уже там?

— А как же. С пятого октября. Ночью переправились... Лупы нет?

Хельмут принес лупу, и Карташов стал разыскивать на фотографии свои окопы. Нет, окопы обнаружить не удалось, — это сейчас, говорят, со спутников снимают так, что заголовок газеты можно прочесть, — но баки, эти чертовы баки на верхушке Мамаева кургана были хорошо видны. И железная дорога, делавшая петлю у его подножья, и завод „Метиз” и даже мясокомбинат, в подвале которого находился КП 1-го батальона...

— А это я, — сказал Карташов. — Видишь белую точку? Это я, у меня был белый тулуп.

— Тогда будем пить про тебя! — Хельмут потянулся за бутылкой.

— А я за тебя, Фриц! Кстати, за что ты Железный крест получил? Это твой портрет в кабинете, над столом?

— Мой. Только не Железный, нет, не дали, это Мерит Крейц, как это, за услуги.

— За заслуги, верно?

— Да. За заслуги. Только нет этого, сабля, меч. Второй класс. Вроде ваша звездочка.

— Не очень-то, — усмехнулся Карташов, у него была именно „Красная Звезда”. — У нас считался бабьим орденом — сестричкам давали, связисткам, командирским пэпэжэ...

Они опорожнили все бутылки, остатки от вчерашнего и Хельмут, отяжелев вдруг, сказал:

— Знаешь, я, кажется, опять спать. По-ке-ма-рю, по-вашему.

— А ты по-нашему здорово шпаришь. Почти без акцента. Сколько в плену пробыл?

— Восемь год.

— Где?

— Сибирь. Недалеко Омск.

— Не был, не был в тех краях...

— А я вот был. Даже любил.

— Что любил?

— Не что, а Катю.

— Катю? Русскую?

— Русскую. Подавальщица.

Карташов хлопнул Хельмута по спине.

— Хорошо тому живется, кто с молочницей живет... Не плохо устроились, кригсгефангены...

— Да, вашим хуже было.

Карташов хотел что-то ответить, но раздумал.

— Ладно, ложись. А я разминочку сделаю, воздухом подышу.

— У нас тут парк рядом, хороший, лебеди плывут.

— Лебеди, лебеди... А где твоя жена, фрава?

— Нету...

— И не было?

— Была...

— И?..

— И нету...

Помолчали.

— Ладно, я пошел... Дай мне денег каких-нибудь, у меня только франки.

Хельмут стал рыться в карманах пиджака. Что-то нашел.

— Не загуляешь?

Карташов рассмеялся:

— С моим-то немецким?

— А водка по-немецки тоже водка. Пол-литра я тебе дал, даже больше.

Карташов сделал вид, что обиделся.

— За кого ты меня держишь? За алкаша, что ли?

— Вот именно...

Оба рассмеялись.

— Не хаами, фриц. Шлафен, шлафен, а я немного шпацирен. Нихт дринкен...

Но „нихт дринкен”, не пить, не получилось.

Парк был пуст, киоски закрыты. Ну лебеди, ну утки. Лебеди такие красивые, изящные в воде, на берегу оказались вдруг грузными, незстетичными, лениво топающими вразвалку и очень агрессивными, все время ссорились между собой... Тем не менее, покормил их какими-то крошками, оказавшимися в кармане.

Да, забавно все это, — думал Карташов, обойдя весь пруд и примостившись перекурить в какой-то беседке, он не любил курить на ходу. — Забавно... Через сорок лет, в каком-то Гамбурге, проснуться и обнаружить рядом стакан водки, ну, не стакан, пол-стакана, и очищенный мандарин, а потом продолжать опохмелку с гитлеровским кавалером Креста „За услуги”, правда, говорит, без мечей, с оберлейтенантом, который фотографировал тебя, старшего лейтенанта, со своей чертовой „рамы”, с первыми лучами солнца появлялась она над твоим Мамаевым курганом... Бывает же такое... Он, этот самый, как выяснилось, Хельмут, а не Дирк, еще на вернисаже подошел к нему и, весело улыбаясь, спросил: „Я слышал, вы тоже сталинградец. Где стояли?” Потом, на приеме у Дирка, все подливал и подливал. Ненадолго возле них появился и писатель, — „А нельзя на троих?”, — тот самый, за которым надо было следить, он тоже оказался сталинградцем. Но вскоре куда-то исчез, так и не выяснив с Карташовым, были ли они соседями на Мамаевом кургане. Успел, правда, рассказать, про письмо от

одного немца, который тоже воевал в Сталинграде. У вас в книге, пишет, рассказано о том, как герой, вернувшись из госпиталя, обнаружил в штабной землянке трофейный аккордеон. „Так вот, в Шестой нашей армии, аккордеон был только у меня и меня часто приглашали то туда, то туда. Потом меня ранило и эвакуировали в тыл. А аккордеон остался. Не о нем ли вы написали? И какова его дальнейшая судьба?“ Ничего себе фриц?

Выяснилось вдруг, что нет сигарет. И сразу же появилась цель. (Вторая, подспудная, тут же всплыла и присоединилась). Вышел через другие ворота на улицу. Чистенько, подметено, ни бумажки, ни собачьей кучи — не Париж, нет — но все, будь оно неладно, закрыто, Не без труда обнаружил какого-то немца — „сигаретен, сигаретен?“ Тот задумался, потер переносицу, сказал „хабен“ и указал на трамвайную остановку. „Цвай унд драйциг, битте“. Карташов понял, что тридцать вторым номером надо добраться до гавани, до порта. Трамваи, слава Богу, уже ходили. Подошел 18-й, 16-й, наконец, 32-й, длинный, желтый, с рекламой на крыше “VODKA PUSCHKIN“. Весьма символично, подумал Карташов и сел в пустой вагон.

Ехали долго, через весь город, позвякивали на каждой остановке. Пассажиров почти не было, два-три за всю дорогу.

Наконец, приехали. Вагоновожатый сказал: „Энд-стациона“ и вышел. Карташов тоже.

Краны, краны, краны... Пароходы. Очень много. Один вплотную к другому. Карташов ожидал моря, но оказалась река, очень широкая, но река. Эльба... Гамбург стоит на Эльбе — вспомнил школьную географию. Ну и черт с ней, с Эльбой, где же тут кабаки? И кабаки обнаружился. Под названием „Акапулько“. Это сразу же как-то развеселило.

„Морген!“ — сказал он, входя в „Акапулько“.

„Морген“, — ответил из-за стойки толстый хозя-

ин в удивительно чистом фартуке.

— Сигаретен. „Голуаз” унд айн бир, — и, подумав, добавил, — битте!

Ему принесли очень высокую кружку очень холодного пива, но „Голуаз” не оказалось и вместо него дали „Кэмэл”, тоже крепкие. Потом попросил зачем-то газету — „цайтунг!” — и перед ним положили на выбор три цайтунга, все на палках. Он выбрал ту, где было больше фотографий и стал их рассматривать.

И вдруг... Вдруг обнаружил, листая газету, что сегодня не больше, не меньше, как девятое мая, День Победы.

День Победы!

Господи, сколько было выпито в этот день тогда. Тогда... Сколько это лет прошло? Тридцать... Тридцать восемь лет. Ну и цифра... Тридцать восемь! Страшно даже подумать. Сколько ж было ему в сорок пятом? Двадцать пять? Двадцать шесть? А сейчас...

День Победы... А он сидит в каком-то занюханном гамбургском портовом кабаке и не с кем даже чокнуться... Люненбург, где Зеленин, Леонов и Шелковский, далеко, за пятьдесят километров, да никто из них не воевал. Писатель, тот, правда, воевал, но с ним выпьешь, потом, в Париже, со свету сживут, ну его... Хельмут? Парень отличный, что и говорить, и крест за войну, а по-русски шпрехает что надо, и Катьку какую-то где-то там под Омском это самое... Нет, нужен свой, оттуда...

Он вспомнил рассказ, который прочитал в каком-то советском журнале. Назывался он „Знаменательная дата”. Про парня, работягу, который вдруг вспомнил, проснувшись, что сегодня какая-то круглая годовщина того дня, когда он впервые вступил в бой. И решает как-то отметить его. Ста граммами с каким-нибудь фронтовиком. И, вот, из забегаловки в забегаловку, а выпить не с

кем. Все молодежь. „Для нас, папаша, это все история... По книжкам, по кино...” К концу дня обнаружил, наконец, какого-то ханыгу, полковника в отставке, в пивном баре на Столешниковом...

М да... До Столешникова далековато... Но неужели в таком городе, как Гамбург, портовом городе, со всего мира корабли, не найдется русского морячка-алкаша... Не может быть! Пусть молодой, черт с ним...

Расплатился, вышел на набережную. Озирнулся. Краны, краны... Трубы, трубы... С желтыми, белыми, красными полосами, с какими-то буквами. Наконец, обнаружил трубу с серпом и молотом. Хочешь жни, а хочешь куй! — вспомнилось. Подошел ближе. Сухогруз „Первомайск”, но во втором ряду. У причала такой же, только с панамским флагом — по диагонали синий и красный квадрат, по другой — синяя и красная звезда — когда-то марки собирал, вспомнилось. Походил, походил, взад и вперед, с панамского сошло несколько человек, советский был мертв, и на палубе никого.

„Не пускают, гады, — подумал Карташов, — контактов бояться...”

И в этот момент увидел троих. Шли рядышком, какие-то унылые, не торопясь, останавливаясь у каждой витрины. Все трое в кепках, пиджачках. Пошел вслед за ними.

Первые дни, месяцы после демобилизации долго еще снились всякие бомбежки, „Юнкерсы”, „Хейнкели”, верткие „Мессера”, артобстрелы. Потом все реже и реже. А сейчас? Прошло столько лет, а годы эти, кровавые, страшные, кругом смерть, — вспоминаются ну, не с нежностью, и вовсе не как героические, но вроде как чистые, незапятнанные. В госпиталях было просто отлично, благо, оба раза был ходячим. Врачи, сестрички, ребята по палате — все хорошие. Палата офицерская, двадцать шестая.

Трое лейтенантов, два капитана, ну и один солдат, на побегушках, за выпивкой, базар рядом, в двух кварталах. „Пейте, ребята, — молила заведующим пышнотелая Ася Аркадьевна, — пейте, но, молю вас, только в палате. Не пикируйте, Христа ради, засекут, мне же неприятности будут...” Иной раз и сама забежит, пригубит слегка. Старше майора в камеру не принимали. Политруков тоже, от ворот поворот. „Политработник?” — „Да” — „Вали отсюда. Здесь воевавшие. Попробуй в тридцатую, может примут”.

Хорошо в госпитале.

Да и на передовой не всегда стреляют. Декабрь, январь в Сталинграде совсем тихими были. Относительно, конечно. Но бомбежек не было, артобстрелов тоже, так, из минометов шпарили. И землянки, как говорил украинец Охрименко „добре отладнані”. Тюфяки, подушки, кастрюли, посуда — из развалин солдаты натаскали. Кое у кого — у артиллеристов, у начальника связи, на КП первого батальона — патефоны, Шульженко, Утесов, Бернес... У разведчиков всегда есть, что выпить. Вот это и вспоминается...

А день рождения? Это, правда, уже после Сталинграда, на Украине, перед самой Курской дугой. Припухали. Молоко, сметана, девочки. Стояли в селе Червонотроицкое, жили „по хатам”, форсили, всовывали целуллоид в недавнопоявившиеся погоны, придумывали себе какие-то кортики, за которые начальство наказывало, но все равно, все носили. К оружейникам была очередь — там делали из плексигласа ручки к саперным ножам... Благодать.

И подвернулся день рождения. Саперы, с ними была дружба, соорудили самогонный аппарат и комвзвода Кучин цедил потом целую неделю жидкую влагу в котелки и фляжки. В субботу вечером собралось в хате человек двадцать, не меньше. Командиры батальонов, рот, спецподраз-

делений. Хорошо выпили, закусили. Хозяйская Оксанка и ее подружки соорудили даже холодец, где-то достали и поджарили двух петухов...

А на утро... Чуть свет явился связной командира полка. „К себе вызывают, срочно!“ Явился пред светлые очи, руки по швам.

— Выспался, капитан?

— Выспался, товарищ майор.

— Голова не болит?

— Никак нет, товарищ майор.

— Это хорошо.

Помолчал.

— А ты, вроде, из интеллигентной семьи? А? Мамаша, если не изменяет память, врач?

— Так точно, товарищ майор.

— Эх ты, капитан, постыдился бы... Так вот.. — ироническая интонация сменилась строгой. — Аппарат самогонный уничтожить! А Кучина, командира взвода, на десять суток. Ясно?

— Ясно, товарищ майор.

— Кругом, шагом марш!

Карташов по всем правилам козырнул и повернулся через левое плечо. Когда взялся за ручку двери, майор окликнул его.

— Капитан!

— Слушаюсь...

— Голова ты все-таки, садовая, — майор печально и протяжно вздохнул. — На следующий раз, заруби себе на носу, будешь юбилей праздновать, приглашай командира полка. Ясно? Иди...

Хороший был майор, ничего не скажешь. Пытался даже после войны разыскать его, увы, не нашел... А аппарат пришлось, все-таки, сломать. Ну, а Кучин отделался одними только сутками.

Вот такое и вспоминается теперь. А бомбежки и „Юнкерсы“? Ну были, ну чего вспоминать. И отступление из-под Харькова до самой Волги было. Пыль, грязь, попутные машины, подводы, пешком...

Все это тоже куда-то отдалилось, а вот 31-е января, яркий, солнечный, веселый день, когда немцы драпанули с Мамаева, помнится, как будто вчера произошло. И второе февраля, сталинградский день Победы, все небо в ракетах, трассирующих очередях, утром еще ничего, а с полудня никто уже на ногах не держался...

Потом вереницы пленных. Документы и фотографии отбирать! Таков приказ. Ну и черт с ним! С чего это я буду у фрица карточки его Гретхен отбирать? А у каждого, поди, альбом, а то и два, с этими белокурыми медхенами и стариками-родителями... Ну и пусть.

Один только случай омрачил праздник. О нем не хотелось вспоминать. Но вспоминалось. В тот самый яркий, солнечный день где-то за Мамаевым курганом Карташов обнаружил в полуразвалившейся халупе человек десять-двенадцать раненых немецких солдат. Жалкие, замерзшие, голодные, они попросили у него курева. Он отдал им все, что у него было. Через час-другой вернулся, притащил кое-что пожрать. Все они были убиты. Какая-то пьяная сволочь покончила со всеми автоматной очередью... Это был единственный случай жестокости, с которым столкнулся на фронте Карташов.

Но все это было в ту войну, сорок лет уже прошло с тех пор, в ту, говорят, самую жестокую, самую безжалостную... А может, и не самую? Может, в Афганистане и пострашнее?

Карташов уже привык к тому, что первая реакция большинства советских, с которыми он сталкивался на Западе — то ли в Лувре, то ли в магазине „Тати“, самом дешевом в Париже, доступном для более, чем тощего туристского кармана — первая реакция — испуг. „Кто вы такой? Что вам надо?“ Да ничего, просто услышал русскую речь и захотелось... „Ну, а тем вовсе не хотелось. Их еще в Москве

предупредили, что провокации их ждут на каждом шагу посему никаких контактов. А хотелось им только одного, чтоб поскорее вывели их из Лувра, пока не закрылись магазины.

Морячки, на удивление, оказались другими. Когда Карташов, поравнявшись с ними, спросил не с „Первомайска” ли они, те, вернее, тот, что был постарше, лет сорока, с пробивающейся уже на висках сединой, ответил без всякого там страха или даже удивления.

— Мы? Нет, мы с БМРТ. „Теодор Нетте” называется.

— БМРТ? Это что еще?

Все трое весело рассмеялись.

— Большой морозильный рыболовный траулер, дорогой товарищ.

Так и завязался разговор, закончившийся через час-полтора в том же „Акапулько”, с которого Карташов и начал.

— А как насчет кружечки-другой пивца? — поинтересовался он, выяснив, что морячки без толку топчаться по городу, все магазины закрыты, воскресенье, вот и разглядывают с горя витрины. Денег у них было не густо, чтоб не сказать просто отсутствовали, вчера малость все же отоварились, а у Карташова целых сто марок. И все четверо двинулись в известном уже Карташову направлении. По дороге еще бутылочку шнапса купили — какой-то магазин-щелочка оказался все же открыт.

В „Акапулько” взяли пива, по две порции сосисок, целую гору свежих, хрустящих хлебцев и сразу же, не канителясь, выпили за День Победы.

— Великий праздник! — ставя стакан и вытирая губы сказал старший из морячков. — За него поллитра на четверых маловато.

Все засмеялись.

— Повторим, старина, не волнуйся, — успокоил

Карташов. — Мы богатые. А праздник, действительно, великий.

— А вы воевали? — спросил один из молодых.

— А то как же! Он звонка до звонка.

На него с уважением посмотрели.

Карташову понравились морячки. Мальчишкам было лет по 18-19, оба ладные, крепенькие, с обветренными, медными физиономиями. Валера из Калининграда, родом же из-под Рязани, кругломордый, курносый, кудрявый, почти молодой Есенин, Петро — украинский такой парубок, черноглазый, чубатый, брови в разлет, с Полтавщины. Оба ели свои сосиски не тропясь, они, мол, вовсе не голодны, но от повторения и еще одного повторения не отказывались, вежливо поблагодарив и похвалив сосиски — „умеют, черт, фрицы, сочные они у них”.

— Лучше калининградских? — не утерпел Карташов.

Оба только улыбнулись.

— А их там вовсе нет.

Но вообще-то, за тот час-полтора, что они провели вместе, все трое порядки на родине особо не критиковали, только один раз Алексеич, как звали его ребята — он оказался то ли вторым штурманом, то ли помощником штурмана, — не удержался и сказал:

— Сами знаете, всех чернокожих кормим.

К этим, последним, отношение было скептическим — шли они сейчас из Камеруна.

— Дорвались до власти их вожди, вот и жрать нечего. При французах, говорят, лучше было, при проклятом колониализме.

В разговоре Карташов упомянул как-то Андропова, ни плохо, ни хорошо, просто, чтоб коснуться этой темы.

— А нам что, — уклончиво сказал Алексеич.

— Нам что Андропов, что Брежнев, один хер. Они

далеко. Нам лишь бы капитан был хороший, да помполит неприе....ся.

— А что, не повезло на него?

— А кому повезло? Баласт и все. Рыбу, рыбу давай, да план выполняй. Да на политзанятиях чтоб не спали.

— Ну это, очевидно, и капитан требует.

— Требует, а как же. Но к себе в каюту не приглашает, как вот нашего Юрко помполит как-то позвал к себе, пиши, мол, мне кто о чем говорит. Было такое, Юрко?

— Было.

— Ну и что же ты?

— Я? А чего писать, говорю, сами знаете. Про девчат говорят и все. Другие дрочат. Тоже докладывать? Разозлился.

Это было наиболее крамольное высказывание за всю встречу.

Но, что больше всего поразило Карташова, это деликатность морячков — ни разу ни один из них, ни пацаны, ни Алексеич, не спросил его, как и почему он оказался на Западе, чем занимается. Будучи на порядочном-таки взводе — как-никак, и вчера, и сегодня утром — он все сам рассказал, популярно объяснив, что не всем художникам хорошо в Союзе, а в Париже, не ахти как, но можно работать, выставляться. Вот и в Германии сейчас выставился. Парочку картин продал. Все трое вежливо слушали, вопросов не задавали. Вопросы задавал Карташов. Почему, например, в стране нет рыбы? А? Планы выполняются, перевыполняются, соцсоревнование, переходящие знамена, а рыбы нет...

— А потому, что хранить негде, — мрачно сказал Алексеич. — Вот почему. Неделями стоим у причалов, а потом, бывает и такое, рыбу разгружаем, ее увозят за город, обливают соляжкой, сжигают.

— Плохо дело. Ну, а как заработки?

— Да что заработки... Кое-что подмолачиваем.

Из кожи вон лезем, бывает, по 12-14 часов разделочным этим ножом чертовым режешь рыбу, с ума сойти можно... А швартовки к плавбазам в открытое море при дурной погоде? Инфаркты у капитанов и штурманов, слышал про такие?

— Откровенно говоря, нет.

— Но главное, это, что от дома оторваны. По пять, шесть, семь месяцев в море. Молодежи-то что, — Алексеич кивнул в сторону пацанов, — а нам, женатым? Заведет хахаля и все. Ее тоже понять надо... — он махнул рукой. — Ладно. Давай о другом. Так ты, говоришь, весь Сталинград отрубил?

— Весь! И живой, как видите.

И Карташов, подобно всем фронтовикам, да еще под градусом, начал вспоминать давнишнее, полузабытое, как какой-то подбитый танк никак не могли взять, а сколько людей перевели, но скоро заметил, что слушают его больше из вежливости, лица поскучнели и, чтоб оживить разговор, ляпнул вдруг про Афганистан. Жаль, мол, обманутых солдат. Никаких китайцев и американцев, о которых им говорили, воюют с народом. А сколько уже полегло...

Тему не подхватили, уперлись глазами в стол, стали закуривать. Только востроглазый Юрко как-то странно посмотрел на Карташова.

— А что, много погибло?

— А кто его знает, точных цифр нет, тут пишут, что тысяч двадцать. Три года все тянется...

— М-да... — мрачно вздохнул Алексеич и вдруг, ни с того, ни с сего, после паузы, спросил, правда ли, что на могилу Высоцкого до сих пор цветы носят? Говорят, целая гора лежит и все несут, несут.

Валера с Юрком сразу же оживились. Высоцкого они знали и любили, на их БМРТ даже две кассеты есть, кто-то в Америке достал, часто ставят. А когда выяснилось, что Карташов помнит наизусть последнюю песню Володи, попросили разрешения записать ее, и он им продиктовал...

— Дадим Жкворикову, гитарист один у нас есть, он и музыку придумает, и споет нам, порядок...

Карташов обещал им при случае передать пару пластинок Высоцкого — вы сколько здесь простои-те? А черт его знает, неделю, может, две, чего-то там латаем... Ладно, поговорит с Хельмутом, с Дирком, может, в Гамбурге достанем... Тут Алексеич посмотрел на часы и сказал:

— Ну, пора и честь знать, ребята. Поблагодарим Вадим Николаевича за угощение, за беседу и по ко-ням...

Взяли еще по пиву, расплатились, по очереди пожали руку толстяку-хозяину — Гут! Гут! — и выш-ли.

Выходя, Юрко, вроде замешкавшись в дверях, отстал и слегка сжал локоть Карташову. Тот глянул на него.

— Вы где будете через час? — спросил парень не глядя, вроде в пространство.

— А что?

— Надо.

— Ну, здесь, если надо...

Юрко кивнул головой. Те двое вроде ничего не заметили.

Расставаясь, крепко жали друг другу руки, „авось, еще когда-нибудь где-нибудь...”, все оста-лись довольны.

— Вы что, на свой БМРТ? — спросил Карташов.

— Да нет, время еще есть... Денег вот, не гус-то. А то бы... — Алексеич развел руками.

— „То бы” не получится, — рассмеялся Карташов, — за „то бы” строгац с занесением впают. А вот... — Они стояли у афишной тумбы и оттуда на них прыгал разъяренный лев. — Сходили бы в зоопарк. Гамбургский самый знаменитый в мире. Гагенбек еще организовал.

В зоопарк, так в зоопарк! И они окончательно расстались, помахав на прощание ручкой. А Карта-

шов, взглянув на часы — без двадцати десять — сел на трамвай и поехал в центр — надо все же какое-то представление о городе иметь.

Встречей, выпивкой остался, в общем, доволен. Конечно, это не то, что раздавить поллитровку с каким-нибудь бывшим лейтенантом или капитаном (Ты с какого? Со Второго Белорусского. А я с Четвертого Украинского. И пошло, и пошло...), но ребята ему понравились, простые, естественные, ну, чуть-чуть, может быть, и скованные, но это и понятно — человек он незнакомый, видят в первый раз. К Алексеичу своему молодые относились с понятным уважением, слушались его, но, как ни странно, не боялись. Он оказался вовсе не надсмотрщиком, как показалось сначала Карташову. Нет, спокойный, немногословный, слова свои, может быть, и взвешивает, но лозунгов избегает, так же, кстати, как и матерных слов, что особенно поразило Карташова. Поразила и какая-то достойная сдержанность молодых ребят, нет, не запуганность, а именно сдержанность, никакой развязности. Валера поскромнее, взгляд пытливый, немного удивленный, Юрко побойчее, видать, первый парубок на селе... Что же ему надо, интересно? И как удастся оторваться? Ведь вроде не полагается ходить в одиночку. Да еще в таком злачном городе, где на каждом шагу соблазны... А может, надо было с ними поехать? Задержаться там где-нибудь возле макак и мартышек и поговорить с парнем...

Побродив по старому городу, Альтштадту, попив кофейку в уютном, старомодном кафе под каким-то Адлером, к половине одиннадцатого Карташов вернулся в ставшую уже „своей” „Акапулько”. Толстый хозяин приветливо улыбнулся и, не спрашивая, принес пива. — „Битте, товариштш!”, „Данке шон, камрад!”. Посмеялись.

Юрко, Юрко... Славный пацан. Молоко еще на губах не обсохло. Усики только-только пробивают-

ся, как у гоголевского Андрея, морда совсем еще мальчишеская...

Появился он где-то около одиннадцати. Сразу же увидел — народу было уже много — и тут же подсел.

— Пива будешь?

— Буду...

— Так в чем же дело? — Карташов кивнул хозяину и показал два пальца.

— Сейчас... Пивца только, пить охота.

Принесли пиво и Юрко в три глотка осушил свою кружку.

— Как тебе удалось оторваться?

— Да просто... Алесеич свой дядька, не капнет. Сказал ему, что забыл портсигар в кафе. Поверил или не поверил, не знаю, но отпустил. Живо, говорит, одна нога здесь, другая там. А у меня особый портсигар, из кожи бегемота, дорогой, — он полез было в карман.

— Ладно. Потом о портсигаре... Что ты хотел?

Юрко часто заморгал, нервно погладил шелковистые свои усики.

— Дело вот в чем, Вадим Николаевич... Дело в том... У меня брат, видите ли, в плену.

— Как в плену?

— То есть уже не в плену.

— Ничего не понимаю.

— Сейчас объясню, — опять погладил усики, у него это было вроде тика, — старший брат, Микола. В армии. Послали в Афганистан... Ну, там и попал в плен... Мы долго от него ничего не имели. Родители, то есть. А я в рейсе был... Потом вернулся, а от него письмо, и знаете, откуда? Из Швейцарии... Красный Крест, что ли, устроил... Одним словом, где-то был в Швейцарии. Их там восемь хлопцев.

— Почему был?

— Потому что драпанул.

— Драпанул? Куда?

— Во Францию. Потому я к вам и...

— Понятно, понятно, — Карташов присвистнул.

— И ты хочешь, чтоб я...

— Ну, не знаю, но... Может быть, вдруг, случайно... Фамилия Слипченко, Микола Слипченко... Микола Терентьевич...

— Ладно, — Карташов положил руку на руку Юрку, ему показалось, что та слегка дрожит. — Если что узнаю, как дать знать?

— Запишите адрес. Село Хатки, Полтавской области, Миргородского района. Слипченко Терентию Александровичу. Это батько...

— Ох, ты горе мое... — Карташов не вытерпел. — Будь они все прокляты, гады зажавшиеся. — Он встал. — Ладно, иди.

И посмотрев на Юрка, — тот тоже встал, кусая губы, — Карташову показалось, что в глазах его что-то заблестело. И вдруг порывисто, сам не поняв, как это произошло, шагнул и крепко обнял парня, прижал к себе.

— Спасибо, Вадим Николаевич. Спасибо! — по щекам его, совсем по-детски, текли слезы. — Вы мне... Для меня... Я никогда...

Он лихорадочно стал шарить по карманам, вынул что-то, положил на стол и вдруг исчез. Был и не стало. Только дверь выходная хлопнула, звеня стеклом.

На столе остался тот самый, как он сказал, дорогой портсигар из бегемотовой кожи. Такие точно продают негры в Париже, разложив на тротуаре своих божков, слоников и прочие, ходкие у туристов, сувениры. Эх, Юрко, Юрко...

Остаток дня провел с Хельмутом. Тот стал уже тревожиться, в полицию собирался сообщить — „телефонировать надо было, телефон есть, дал тебе“. „А я не умею у вас, и сколько надо, не знаю“. „Ох, голова, алкоголик...“ И тут же вытащил из

холодильника бутылку коньяка, — „продолжим нашу работу”.

— Может, в Люненбург позвонить? — робко спросил Карташов, чувствуя свою вину.

— А они уже звонили. Я сказал о'кэй, завтра привезу.

— Ну, давай тогда...

Так и закончил Карташов свой день, тридцать восьмой День Победы... Начал с фрицем, им же и закончил.

О чем же говорили, чокаясь и обнимаясь? Да все о том же... Ты не думай, что я... Да я и не думаю... Дело солдатское... У вас приказ, у нас бефель.. Выполний! Но я ни разу... Что ни разу? Хайль Гитлер? Не трепись. Я, вот, за Родину, за Сталина... Все кричали, все думали, что... А получилось вот что... Ладно, получилось, не получилось, за Победу!.. За Победу...

А перед глазами Юркина морда, мокрая от слез... Эх, поговорить бы с тобой по душам, пацаненок. Юрко, морячок ты мой советский...

М А М А

В этом году ей исполнилось бы сто четыре года. Двадцать четвертого июня. Прожила она девяносто один. Умерла 7 октября 1970 года.

Покойся на Байковском кладбище. Рядом с матерью и сестрой. Мне на этих могилах не бывать, цветов не класть. Делают это друзья. Спасибо им.

Смотрю на нынешних мам. Нельзя! Исключено! Не разрешаю! Мопед зависит только от твоих отметок. Перестань! Прекрати! Нельзя и все!

И так, с утра до вечера, вернее, с момента прихода из школы до „Спать! И никаких телевизоров!”

За всю жизнь не припомню случая, чтоб мать отчитала меня. Или что-либо запретила. Чему-то удивлялась — „И почему вы всегда уроки оттягиваете до последней минуты? У меня все с субботы было готово, воскресенье гуляла”. Иной раз огорчалась. И то, когда я достиг определенного возраста и стал переступать некие грани.

Ни разу, до самого своего последнего дня, не припоминала она мне прискорбного случая, когда я впервые переступил эти грани.

После одной из получек (работал я тогда, окончив профшколу, на строительстве киевского вокзала), мы завалились в „Континенталь”, лучший в Киеве ресторан. Как вернулся домой, не помню, но то, что вся изысканная континентальская закуска

оказалась не только на полу, но и на стенах, помню хорошо. Очнувшись утром, я не обнаружил ни малейших следов своего позора. А мыть полы мать не умела и не любила.

Не очень радовали ее и поздние мои возвращения. За полквартала я уже видел ее маленькую фигурку на балконе. „Поверь мне, — возмущался я, — твое дежурство ни на минуту не приблизило часа моего возвращения...” Мать смущалась: „Никакого дежурства. Просто вышла подышать немного, вечера такие душные...”

Никогда не поучала, не учила уму-разуму. Наоборот. Понятия „отличник” в мои годы не было. Тем более, идиотского „хорошист”. Был „уд” и „неуд”. Эти вторые не часто, но все же иногда появлявшиеся в дневнике, в отчаяние ее не приводили, напротив — „Не будь только первым учеником, — уговаривала она, — в наше время это считалось неприличным...” И я строго придерживался ее указания. Пожалуй, даже строже, чем надо. Сохранилась „четверть” тех лет — „Сведения о занятиях ученика 3-й группы В. Некрасова. 8 апреля 1922 г. Математика — слаб: ошибается в вычитании и в таблице умножения. Никакого понятия о делении”. (Мало что изменилось с тех пор — очень помогает мне в тяжелую минуту вычислительная машинка за 40 франков). По поводу этой огорчительной оценки, к математику, ненавистному Кругляку, ходила объясняться бабушка, мама считала это непедagogичным.

Так же не вмешивалась она и в религиозное воспитание сына. Все мои бонны были верующими. Перед сном, стоя на коленях я долго молился, вызывая бурное негодование старшего брата Коли. Он написал даже матери (жил тогда в Миргороде) длинное, гневное послание, начинавшееся словами: „Зина! Когда же кончится, в конце концов, это

безобразия?” Ответ был краток: „Не беспокойся, сам разберется”.

Когда я разобрался и перестал верить в Бога, не помню. А почему? Во всяком случае, не антирелигиозная пропаганда тому была причиной. Думаю, что она, напротив, должна была приблизить к Нему. Возможно, улови я на каком-нибудь изображении Христа улыбку, я остался бы верующим.

Мать не баловала меня (это была прерогатива бабушки), но глубоко была убеждена, что хвалить лучше, чем порицать. Думаю, что она была права. Сужу по себе — похвалят, стараюсь сделать еще лучше, поругают — не исправляюсь, задираюсь, настаиваю на своей правоте. Уверен, что в какой-то степени именно это сыграло определенную роль в моих отношениях с теткой, домашним диктатором, и Советской властью. Обе делали упор на мои недостатки, строптивость, мать же, если и не всегда потакала, то, как говорится, мирволила.

Все прогрессивное человечество осуждало мое увлечение театром. „Подумайте только, учится в институте, выбрал прекрасную профессию, будет скоро архитектором и вдруг, просто не верится, пошел в комедианты”. А потом, когда изгнанный из Киевской Русской драмы, стал на клубных сценах глаголом жечь сердца в каких-то „Парижских нищих” и „Тайнах Нельской башни”, руками только разводили: „Ненормальный и только. Куда родители смотрят?” А родительница, всем наперекор — „Ведь он такой способный. Даже в шарадах был лучше всех. И Станиславскому, вот, понравился, обещал в свою студию принять”.

Мое вступление в партию тоже не осудила, в противоположность тетке. Та, несмотря на свою дореволюционную дружбу с большевиками (Ногин, Соловьев), считала, что идеалы опозорены и состоять в партии неприлично.

Как ни странно, но ничего антисоветского в на-

шей семье не было. А ведь и ничего хорошего эта власть им не дала. Не преследовала, не угрожала, но вряд ли можно было сравнивать нынешнюю коммунально-примусную жизнь с дореволюционной швейцарско-парижской.

Не в характере матери было кого-то осуждать. Исключение составляли только мои обидчики. Но даже Хрущева, главного из них, когда его сняли, очень жалела. „Ну, как это можно? Вчера еще на руках носили, дорогой, любимый, а сегодня... Как ты думаешь, ему, как пенсионеру, два месяца в году разрешат работать? Ведь он такой деятельный и говорить так любит...” От всей души жалела. Только вот маршалу Жукову никогда не могла простить, что он фильм „Солдаты” запретил. Даже былые заслуги не принимались во внимание.

Всю жизнь она работала. В 1906 году закончила университет в Лозанне, а через два года „Зинаида Николаевна Некрасова, урожденная Мотовилова, вероисповедания православного, дочь дворянина, доктор медицины Лозаннского университета, подверглась, с разрешения Министерства Народного Просвещения, испытаниям в Медицинской Испытательной комиссии при Императорском Харьковском Университете в апреле и мае месяцах 1908 года, при чем оказала следующие успехи... и удостоена степени „лекаря”.

С успехами произошла, правда, небольшая накладка. Студентами принято было решение, чтоб не иметь никаких преимуществ перед своими товарищами-евреями, на отметки выше „удовлетворительно” не соглашаться. (А? Ничего себе при Николае Кровавом было?). „А вот этому дураку профессору так понравились мои, видишь ли, ответы, что он по фармации и по фармакогнозии поставил „весьма”. И получилось черт знает что. По всем предметам еле-еле, дура-дурой, а тут вдруг весьма!” Очень огорчалась, до старости лет.

Забавная деталь. Когда для чего-то снималась копия харьковского диплома, слово „Императорский” было выкинуто. Любопытное новшество в советском нотариате.

В годы первой мировой войны мать работала в Париже, в военном госпитале. Потом в Киеве, чуть ли не до начала Отечественной войны, врачом для посещения на железной дороге. Между харьковским и парижским был еще не совсем ясный для меня период, от которого сохранилась белая эмалированная дощечка „Д-р Э.Н. Некрасова, прием от-до”, упоминание о том же докторе в разделе „Женщины-врачи” в „Путеводителе по Киеву” за 1913 г. и нелепое, особенно рядом с диваном павловского ампира, гинекологическое кресло. Использовалось оно, в основном, мною — сваливал на него рулоны своих чертежей.

Врачем мать была хорошим. Больные ее обожали. Через десятки лет какие-то старушки и старички бросались на улице ей в объятия. „О! Солнышко вы наше, как вы, что вы? Смотрите, и не изменились совсем”. Мать скептически улыбалась: „Господи, неужели я и тогда такой обезьяной была?” Лобзали ее на улице и бывшие, повзрослевшие уже дети — придя к больному, мать, само собой разумеется, выслушивала и ставила градусники всему семейству.

Районом маминого обслуживания была Демиевка, ставшая в последствии Сталинкой, и бывшая Ямская улица, воспетая в свое время Куприным. Обход, естественно, совершался пешком (за это полагалось дополнительное вознаграждение — „шаговые”), в любую погоду, преодолевая любые препятствия. Пригодилось маме ее альпинистское прошлое — по узкой, скользкой тропинке между двумя глинищами, окрещенной „Дарданеллами”, я б сейчас ни за какие коврижки не пошел, а она как ни в чем не бывало. Только ноги потом долго

надо было отмывать — ходили тогда все босиком, даже врачи.

Любили мать не только больные, любили все. Любили мои товарищи — школьные, институтские, послевоенные, любили соседи, сослуживцы, даже жившие в нашей уплотненной квартире КГБ-исты (думаю, именно поэтому, не было у нас никаких неприятностей по этой части). Любили за веселость, за умение видеть в жизни в основном светлое (тетка, напротив, только темное — Господи, до чего же были они разные!), за доброту, приветливость, щедрость („Слушай, ты ж только что получил гонорар, почему ничего не дал Жене, ведь они сидят без копейки денег“). Когда я неожиданно, после первой книги, разбогател, за нашим столом, как правило, собиралось — в обед, к вечернему чаю — не меньше десяти-двенадцати человек. Прижимистая наша домработница Ганя только шипела и негодовала — „Ходють, ходють, як в ресторан, хоч бы хто потим посуду помыв...“ — а мать только волновалась, почему второй день нету Евгении Григорьевны, не заболела ли, узнай.

Человеком она была не только веселым и компанейским — „Ну, что вы все сидите, дымите и Никиту ругаете — пошли в кино! Галопом! Где мои туфли?“ — но и не отстающим от века. Очень одобряла короткие юбки, — удобно в троллейбус влезать, — читала „Известия (интереснее, чем „Правда“!) и велела мне даже подписаться на „Новое время“, которое, скажу по секрету, по-моему не читала. И в то же время она была и „старорежимной“ — держать слово, быть всегда на высоте, не лгать, не пресмыкаться — вот, что она требовала от людей. Нет, не требовала, она ни у кого никогда ничего не требовала, просто люди, не соответствующие этому эталону, скажем так, встречались менее радушно.

Как врач, она была безотказна, — в любую минуту на край света, — поэтому, возможно, и любила

больше всех Исачка Пятигорского, моего друга с институтских еще лет, специальность которого была всем помогать — поступить в институт, в техникум, устроить на работу. Если у кого какие-либо осложнения, тут же призывала меня: „Позвони Исачку, он все сделает”. Кажется мне, что и Исачок больше всех на свете любил ее. „Вот ты, Вика, не замечаешь, а я провинциал, из Умани, и прямо могу тебе сказать — если есть в тебе еще что-то хорошее, то только от нее. А у нее от девятнадцатого века, — но тут же с ухмылкой добавлял, — впрочем, товарищ Сталин тоже девятнадцатого...”

Не знаю, как там с веками, но чувство долга в ней было развито до чрезвычайности. Ее слова, сказанные мне по телефону из окруженного Киева в Ростов: „Я рада, что тебя призвали в армию. Не время сейчас в театре на броне сидеть” чуть до слез меня не довели. И не было этого знаменитого материнского „береги себя”, хотя было другое, очень ее: „Смотри, пиши аккуратно”. К слову сказать, в Ворошиловграде, незадолго до нашего печальной памяти наступления на Харьков, я, проходя мимо почты, зашел в нее и отправил письмо, — придет же такое в голову! — другой моей тетке, Вере, жившей не больше, не меньше, как в Швейцарии. Чудеса из чудес — письмо не только дошло до Лозанны, очевидно, через Америку, но переправлено оттуда было в оккупированный немцами Киев. Сколько счастья доставило это матери — в конце года она знала, что в мае сорок второго года ее сын был жив-здоров.

Она пережила оккупацию. Думаю, самые тяжелые годы ее жизни. Работала в медпункте какого-то завода — через весь город, на Куреневку, пешком, трамваи не ходили. Воду — за два квартала, на пятый этаж, тоже пешком. Незадолго до освобождения похоронила мать мою бабушку, самого доброго человека на свете. Остались вдвоем с тетей Соней.

Дом немцы перед уходом сожгли. Перебрались на другую квартиру, перетаскивая по ночам картины и прочие, дорогие как память, ненужности.

Об освобождении Киева я узнал в Баку, в госпитале, по радио. О том, что мама жива, из телеграммы — прислал друг-журналист, вступивший с войсками в Киев и сразу же разыскавший маму. Я тут же выписался и ринулся в Киев.

Маленькая, еще меньше, чем была, в неизменном своем пенсне, она стояла посреди комнаты, над печуркой и что-то варила. Потолки, стены черные, закопченные, а посреди этого мрака, мама, источающая сияние... Трудно во все это было поверить.

Через несколько дней я ушел на фронт и вернулся только через полгода, после второго ранения, теперь уже навсегда. И прожили мы вместе еще двадцать пять лет. Не самое ли это большое счастье в человеческой жизни?

Мамина непрактичность стала легендой. О ценах не имела даже приблизительного понятия. (Тетя Соня же всю жизнь вела книгу расходов — где-то я прочел, что такая же книжка парижской консьержка времен Французской революции была бы куда ценнее любого письма Наполеона). Как-то поехала она в командировку в Одессу. Вернулась оттуда сияющая. „Была на знаменитой Молдаванке, приценивалась — почему-то все всегда интересуются ценами”. — „Ну, и какие ж там цены?” — „Какие? Хорошо помню... Что-то пять, а что-то семь рублей”. Никак не могла понять, почему все смеются. И напрасно смеялись. В панические дни первой денежной реформы, умудрилась, отправившись одна-одинешенька, на Евбаз (был такой Еврейский базар в Киеве, сейчас площадь Победы) притащить домой ворох весьма пригодившихся потом вещей — сапоги, муфту, лисье боа, простыни (тогда на вес золота были), какой-то чайник. „В самый последний день пришел откуда-то из Сталинграда твой гонорар.

Что делать? Вот и ринулась сломя голову”. О том, сколько, за что она заплатила, конечно же, и понятия не имела.

Любимым ее занятием было писание писем. И первым вопросом, протерев утром глаза: „Письма есть?”. „Больше всего в жизни З.Н. любит письма, потом уже тебя”, — смеялись мои друзья. Я сделал фотоальбомчик „Мать за работой”. Дома, на даче, на пляже (он был на третьем месте после писем и меня), в поезде, на пароходе, в самолете, на скамейке в скверике в ожидании чего-то. В сумочке у нее всегда хранился почтовый набор — бумага, конверты, открытки — и как только подворачивалась свободная минута, садилась и начинала строчить. Во все концы света.

Неутомимость и любознательность ее были феноменальными. Ну, что может быть такого уж интересного в Сельскохозяйственной выставке? Нет, пойдём! Идем. Обошли штук десять павильонов. Изнемогли. „Нет, мы не были еще в армянском, я люблю Армению”. Но он закрыт! „Нет, не закрыт, я видела. Сидите, лентяи, а я пойду”. И шла, и сняв пенснэ, внимательно читала сквозь какую-то лупу цитату из Сталина на рисовом зерне или в бинокль разглядывала что-то ликующее, изображенное на потолке. После армянского был еще азербайджанский, туркменский, все республики по очереди. Вернувшись домой — усталости не признака, — уложила чемодан, — в этот же день мы летели в Киев, — а прилетев, все распаковала, аккуратно разложила по комодным ящикам и только тогда села за чай. Я же на ногах не держался.

Вечерние чаепития были ритуалом. После обязательной прогулки, на обратном пути покупался свежий батон, и рассевшись потом за столом, начинали то, что обычно начинается за русским столом, даже когда на нем нет бутылки. Мать принимала активное участие, опорожня одна за другим ста-

каны чая с лимоном. „Зинаида Николаевна, как же вы спите после такого количества?“ „Прекрасно! Промываю почки. Никогда не вредит“. В отличие от нынешних дам, которые часами и с увлечением могут говорить о вреде масла, соли, сахара, всего мучного, она питалась антинаучно (хотя одно время работала диетврачом), и всех приводила в ужас, забрасывая соль горстями прямо в рот. „Все это чепуха, все эти рационы. Организм лучше нас знает, что ему надо“.

Обожала сквозняки. Ветер гулял по всем комнатам, вздымая занавески. В поезде ли, в троллейбусе моментально открывала окна, невзирая на ропот окружающих. Ненавидела слово „продуло“, сама никогда не простужалась. Лекарствами не пользовалась, разве что аспирином. На пляже (до глубокой старости!) гневалась, когда я пытался раскрыть над ней зонтик. „Убери, убери сейчас же... Я за солнцем сюда приехала, а ты его заслоняешь“. И, отпихнув зонтик, углублялась в последний номер „Нового мира“.

Любимый ее писатель был Анатолий Франс, и с детских лет еще, Писарев. „Принеси мне, пожалуйста, Писарева“, — говорила она мне, прикованная уже к постели, и в сотый раз листала „Пушкина и Белинского“. Конечно же, она любила Пушкина, но всякого, кто осмеливался вступать в спор с авторитетами, еще больше. Думаю, это нас с ней сближало.

Есть такое, на мой взгляд, нелепое выражение — любить жизнь (не знаю, кто ее так уж ненавидит). Так вот, если все же применять его, то лучшего объекта, чем она, не найдешь. Любила жизнь, людей, веселье. А жизнь-то не всегда ее баловала.

В 1919 году трагически погиб мой старший брат Коля. Ему было восемнадцать лет. Мальчик на редкость одаренный. Смотришь на его чудом сохранившиеся рисунки, висящие у меня на стенке, и диву

даешься. Ни на кого не похоже, собственное лицо, слегка левоватое и очень профессионально. А нигде не учился. И писал. Кое-что сохранилось. Тоже по-своему и совсем не по-детски. Чуть-чуть от надвигавшегося уже абсурда. Почти всю свою жизнь прожил в Швейцарии и во Франции. С матерью был очень дружен, с теткой — не очень, крутой у нее нрав был. В связи с этим и оказался он в тот нелегкий год в Миргороде, где жил наш отдаленный родственник-врач. Правительства сменялись одно за другим. В один из приходов красных у него проведен был обыск. Нашли французские книги, приняли за шпиона и убили, засекали шомполами, бросили в реку. Мать ездила на розыски, но разве найдешь?

Мне было тогда восемь лет. Помню маму, приехавшую из Миргорода. Никогда больше не видел я ее такой. Она плакала. Я тоже. Сидели вместе на диване и плакали.

Все остальные невзгоды она переносила, никогда не жалуясь. Бегала босичком по своим „Дарданеллам”, во время учебных тревог в противогазе и с лорнетом (!), таскала „раненных”, вот только в очередях никогда не стояла (бабушкино занятие) и старыми перьями не торговала на Евбазе (теткина работа).

Два года провели они в оккупации. Три немолодых женщины, впроголодь, без отопления, а зимы были лютые. Друзья, в большинстве евреи, кто не эвакуировался, погибли в Бабьем Яру. И об этом рассказывала мне потом мама. Просила, умоляла оставшихся — „Не ходите, не верьте им. Живите у нас пока, у нас вас никто не тронет, мы все же русские...” Нет, поверили в какое-то там гетто и пошли. Лизу Александровну, маленькую, беззащитную, одинокую проводила до самого Лукьяновского базара. Дальше не пустили. Обнялись, заплакали и расстались. Уходя, мать слышала уже первые залпы...

Осенью сорок четвертого вернулся я. Навсегда уже...

Можно ли назвать мамину жизнь счастливой? Думаю, что да. Учитывая ее характер.

Детство и юность — Швейцария, Лозанна. Нет, они не были эмигрантами, просто тогда так велось — образование за границей лучше, чем дома. Там же встретилась с моим отцом. Там же родился и Коля. В 1915 году заграничная жизнь кончилась, вернулись домой. Но Швейцарию и Францию мать вспоминала постоянно. С особой любовью и теплотой — Париж. „Вот бы тебе, Викочка, туда. И французы б тебе понравились, всегда веселые. Не то, что швейцарцы, те больше о еде и пищеварении...” Осуществилась теперь мамина мечта, я в Париже. Но сейчас не „belle еpoque”, сейчас инфляция, веселых куда меньше. Думаю, что самой веселой, окажись она здесь, была б именно она.

Умерла она тихо. Просто не проснулась.

Последний год она прикована была к постели. Поскользнулась на полу и сломала ногу. В этом возрасте не очень рекомендуется. Кость срослась, она стала выходить с моей помощью к столу, но из дому уже не выходила. Кончились прогулки, кончилось „Галопом! В кино!”. И постепенно угасла.

„Дай мне, Викочка, Писарева”, — по привычке говорила она, но он уже не очень читался, больше лежала, печально глядя в окно, вспоминая иной раз Колю, а то и папу, своего папу.

— И плачу я, и плачу я, и горько-горько плачу я...

— Мам, ну что это ты?

— Да так... Ты не слушай.

Она часто повторяла эту, неизвестно откуда пришедшую к ней фразу и так это было не похоже на нее. А потом вдруг улыбнется.

— Ты помнишь еще тот стишок про ласточку?



— Ты помнишь еще тот стишок про ласточку? Почитай-ка мне.

И я читал чудом сохранившийся в памяти французский стишок про маленькую ласточку и ее маму, которая учит ее летать.

— И почему ты не говоришь по-французски? У тебя такое произношение...

— Ладно, ладно... Другие заботы. Пойдем лучше чай пить.

— Пойдем. А Исачок пришел?

— Сейчас придет.

— Люблю я твоего Исачка. Он лучше всех.

— Даже лучше меня?

— Сравнил... Он же не пьет. — А в глазах улыбка. Парировать мне было нечем.

Хоронили ее в тихий, солнечный, осенний день, с падающими золотыми листьями кленов, которые она так любила собирать и сушить в толстом „Ляруссе“, а потом в зеленом одностомнике Лермонтова, сохранившимся еще с тех лет.

Покоится рядом с бабушкой и тетей Соней. В одной ограде. На похоронах было много друзей. Это они сажают сейчас на могилу цветы. Она всегда прибрана, ухожена. Фотография трех холмиков у меня на столе. Пришла из Австралии, из Сиднея. И засушенный цветочек рядом. С того же холмика. Прислала незнакомая мне тогда еще дама — Валерия Павловна Тоцкая. Побывала в Киеве, знала когда-то мать, разыскала могилку, сняла, сорвала цветочек и через моря-океаны долетело это до меня. Как когда-то мое фронтовое письмо через весь земной шар до мамы... Не зря любила она переписку, больше чем сына, как говорили досужие языки.

ВИКТОРИЯ

Виктория было самое ненавистное для меня имя. Хоть сам я Виктор.

— Я не понимаю, я отказываюсь понимать. В твоём возрасте я уже прочитал всего Толстого, мы увлекались Писаревым. А тебя, кроме каких-то там «Двадцати тысяч верст под водой», ничего не интересует. Поражаюсь.

— Не верст, а лье, — поправлял я.

— А, Господи, какое это имеет значение, — начинала кипятиться тетка, не терпевшая возражений. — Тебе уже четырнадцать лет. В твоём возрасте у нормального человека складывается определенное мировоззрение. Наше поколение зачитывалось Боклем, спорило, прав ли Белинский, осуждая Гоголя, а вы, дальше своего Жюль Верна и Майн-Рида...

— Прости, но я читаю сейчас Луи Буссенара, а не Майн-Рида... «Капитан Сорви-Голова».

— Вы слышите, он читает Луи Буссенара! Да кто он такой? Вы слышали когда-нибудь о таком? Я — отродясь. И вообще, Зина, я просто поражаюсь тебе. Можно подумать, это не твой сын. На твоих глазах растёт балбес, неуч, забивающий себе мозги всякой чепухой, а тебе хоть бы что. И это в нашей-то семье...

Мать пыталась возражать.

— Всему свое время, милая Соня. Дойдет и до Толстого, не торопи.

— То есть как это, не торопи. Время-то уже прошло. То самое, когда всякий культурный человек начинает формироваться, когда от того, что он прочел, и именно в этом возрасте, мозги еще не забиты всякой ерундой, зависит, может быть, еще будущее... Я не нахожу слов, просто не нахожу слов. Вчера, например... Не знает, чем заняться, раскладывает идиотские свои марки, я ему говорю, пойдем, я тебе почитаю Гамсуна «Викторию», вещь, над которой я в его годы плакала, так это прекрасно, а он мне, видите ли, говорит, что ему еще какое-то обществоведение надо готовить... Слово-то какое... На человеческом языке это называлось всю жизнь историей, а теперь придумали какое-то обществоведение. Не выговорить.

— Постой, постой, — перебивала на этот раз бабушка, добрая и миролюбивая, больше всего в жизни боявшаяся семейных ссор. — Рано ему еще читать «Викторию». Он ничего не поймет. Это в семнадцать-восемнадцать лет...

— И вообще, я не люблю про любовь, — вставлял я, зная, что за этим последует.

А следовало обычное — разгневанная тетка — «Я не могу больше этого слышать!» — покидала поле боя и хлопала дверью в свою комнату так, что сыпалась штукатурка.

У бабушки дрожали губы.

— Господи, какой характер, какой характер... Дай мне, Виковка, валерьянки, она там, на ночном столике.

Подобные сцены происходили чуть ли не ежедневно. Обычно за вечерним чаем. Присутствие гостей ничуть не мешало тетке чем-то возмущаться — предлогов хватало — неинтеллигентность нынешней молодежи, грубость управдома, тупая жестокость совет-

ской власти — подумать только, считающей себя марксистской, — нерадивость родного племянника. Мама, по натуре человек веселый, а по мнению ее сестры, лишённая каких-либо принципов, пыталась возражать, гости, более или менее привыкшие к подобным сценам, в основном, помалкивали, бабушка тянулась за валерьянкой. Я же все больше и больше ненавидел Викторину, сына мельника, Гамсуна и вообще всех взрослых, которые ничего не понимают...

Сейчас, вспоминая те дальние дни, я понимаю, что тетя Соня по-своему очень любила меня. Проходя своим быстрым шагом за моим стулом у обеденного стола, она могла на ходу наклониться и чмокнуть своего строптивого племянника в шею, где-то пониже затылка. Но это не мешало ей с утра до вечера поучать его, требовать, чтоб убрал со стола локти и трагически вздыхать: «Просто не представляю себе, как ты с такими манерами будешь вести себя за табльд'отом, окажись ты в Швейцарии». Эта перспектива не очень-то маячила впереди, не пугала, а локти, увы, я до сих пор со стола не убираю — неистребимый дух противоречия оказался удивительно стойким.

С возрастом моим тетка, человек строгих правил, все больше и больше осуждала племянника. «Подумайте, этот самовлюбленный эгоист едет во Владивосток, в какой-то идиотский театр, не думая совсем о маме, которая без него жить не может». Мама, то есть моя бабушка, действительно, души не чаяла в своем внуке. Умирая в оккупированном Киеве, все мечтала, чтоб Викочку взяли в плен: «Говорят, они кого-то отпускают, вот и пришел бы он к нам...»

Мое вступление в партию, хотя оно и произошло в Сталинграде, в разгар боев, тетя Соня не могла простить до самой смерти. «Какой ужас, — говорила она приходившим к ней старушкам. — Мой родной племянник оказался карьеристом. Ведь в стоящую

у власти партию вступают только карьеристы». Переубедить ее было невозможно.

Но все это уже послевоенное. Тогда же, именно в отроческие годы, посеяно было то, что привело к последующим распрям. И первым зерном была ненавистная мне Виктория и придумавший ее усатый писатель в крахмальном воротничке и пенсне, которого я так же тихо ненавидел.

* * *

Может и не в восемнадцать лет, как предсказывала бабушка, но в двадцать я уже был по уши влюблен в Гамсуна. Он стал нашим кумиром. Глубина, загадочность, недоговоренность. Хотелось быть лейтенантом Гланом. Мужественным, непонятым. И не понятым.

К тому же, мы были писателями. Талантливыми писателями, может быть, даже на грани гениальности. Нас было трое: Сережа, Валерик и я. Все трое тайно вздыхали по Жене — немногословной, неулыбчивой, с челкой почти до самых глаз, а-ля Лиа де Путти, и на наш взгляд, тоже полной загадок.

Собирались мы у нее или у Сережи, у него была отдельная комната. У нее, впрочем тоже. Принимала она нас полулежа на низкой тахте, лампочка была чем-то завешена, нужен был полумрак. Иногда приоткрывалась дверь, и руки ее матери — именно руки, лица мы никогда не видели — подавали поднос с чаем и печеньем.

У Сережи мы пили напитки покрепче. Нет, в те годы питье не было главным развлечением, пили главным образом потому, что мужчинам положено пить. Этим мы хотели походить на других, в остальном же — ни в коем случае.

Оригинально! В наших устах это слыло высшей похвалой. Оригинальный проект, оригинальное решение... Но не только проекты наши должны были быть оригинальными — учились мы в строительном институте, будущие

Корбюзье, не меньше, — но и преподносить их полагалось как-то по-особенному. Я как-то додумался начертить свой речной вокзал на оберточной бумаге, а Сережа — на оборотной стороне обоев. В этом состоял особый шик. Остальные корпят над листами ватмана, старательно отмывают тени, а мы, мол, плевали на внешнюю форму подачи, важна мысль, идея... Профессора только пожимали плечами. Это были относительно еще либеральные времена, говоря об искусстве. Еще не совершил свой губительный переворот конкурс на Дворец Советов, кубики на тонких ножках были еще в моде. В стране же либерализм давно кончился, шла сплошная коллективизация. Но это проходило как-то мимо. Молодость, увлечения...

Внешностью мы тоже отличались. Сережа ходил в длинном черном пальто с поднятым воротником, тогда еще так не ходили, Валерик в серой, с бляющимися пуговицами гимназической шинели, очевидно, со старшего брата, я же шеголял в резиновых тапочках и шерстяных коричневых гетрах, привезенных бабушкой из Швейцарии. Сочетание их с защитного цвета юнгштурмовскими галифе было довольно странным, зато, как и требовалось, оригинальным, привлекавшим внимание.

Днем мы чертили свои гениальные проекты, вечером читали свои не менее гениальные произведения.

Сережина комната, на Трехсвятительской, во дворе, на третьем этаже, тоже, конечно, не могла походить на обычные. Не только обои, но и пол был расписан в ярчайшие тона. Что-то под Кандинского, пятна, брызги, динамика, входившего встречал зеленый кот с задранной хвостом, прямо на полу, масляной краской.

Мебели почти никакой. Гигинтская продавленная тахта, пара колченогих стульев, этажерка с книга-

ми — негритянское искусство, «Аполлон», конечно же, Гамсун, серо-зеленые томики приложения к «Вокруг света» с неким викингом, карабкающимся по дереву, на обложке. Посреди комнаты круглый черный стол, на нем медный подсвечник. Чтения происходили при свече, для таинственности. Достать свечи в те годы было не так-то просто, доставали у подозрительно поглядывающих на нас монашек Фроловского монастыря.

Собирались мы по четвергам. Для чтений. У Вячеслава Иванова в его башне были среды, а у нас четверги. Зажигалась свеча. Пригубляли из единственного граненого стакана, закусывали сыром, который лежал и резался прямо на столе — тарелки мещанство! — и начиналось чтение. Курили, дым стелился пластами, окурки на пол — так, казалось нам, вели себя Модильяни с друзьями в его монмартрской мансарде.

Вечера эти назывались «Серапионовками». В честь ленинградских «Серапионовых братьев», которых мы все-таки считали писателями, в противовес всяким там Фурмановым, Неверовым и Серафимовичам. Их мы презирали и не читали. Дух Кнута Гамсуна, сурового северянина, витал над нашим черным столом. В стране гнали один за другим эшелоны на восток, а мы жили в фиордах, шхерах, преклонялись перед сильными одиночками, противопоставляющими себя обществу.

Ирония и скепсис — главное оружие. Ничего не принимай всерьез. Конечно, что поделаешь, нужно ходить на все эти диаматы, политэкономии, прорабатывать решения очередных, абсолютно нас не касающихся и не интересующих съездов, но относиться к ним серьезно?

— Содержание нагелевского футляра для скрипки, поверьте, меня интересует куда больше, чем резолюция последнего пленума, — лениво говорил Сережа,

стреляя окурком в стену. — Как вы думаете, какие у Нагеля были кальсоны в этом футляре? Трикотажные?

— Не трикотажные, а егерские, — поправлял Валерик. — Именно так назывались они в те времена.

— Не знаю, как Нагель, но лейтенант Глан подштанников не носил, ручаюсь, — вставлял я, чтоб, упаси Бог, не выпасть из беседы.

— Прости, но в чем же он тогда ходил? Трусы — изобретение двадцатых годов двадцатого столетия. Ты видел фотографию Станиславского на пляже в Сен-Мало? Купались в панталонах на пуговках, никаких трусов.

В этом тоже была особая поза. Все мы знали, что Гамсун — великий писатель, но говорить об этом было «мовэ тон». Мы его боготворили, изо всех сил подражали, более или менее безуспешно, но вслух можно было говорить только о кальсонах Нагеля или о том, как обмочился в штаны герой романа «Голод». На серьезное — табу. Так же, как нельзя хвалить Микельанджело за Давида, Моисея или Сикстинскую капеллу. Хвалить можно, даже должно, но, главным образом, за какие-нибудь необъяснимые отклонения. Мужеподобность его сивилл или женщин в «Рассвете» и «Сумерках» в капелле Медичи.

— Больше всего люблю маленького усатого человечка на спине у Джулиано Медичи, — вяло ронял в беседу розовощекий наш Валерик. — В нем квинт-эссенция юмора. И обнаружили его только, когда статую сняли для реставрации. Вот вам и загадка... И юмор.

Спор о нижнем белье гамсуновских героев мог перерасти в дискуссию о малевическом квадрате или о том, почему Брюсову так необходимо было, чтобы кто-то закрыл свои бледные ноги...

— Я не силен в поэзии, — цедил в этом случае сквозь зубы Сергей, — но если б это предло-

жение относилось ко мне, я попросил бы уважаемого Валерия Яковлевича обнажить свои загорелые икры. В противном случае...

— К барьеру?

— Возможно. Кстати, как советское законодательство относится к этому виду решения споров? Запрещены у нас дуэли или нет?

Как выяснилось, специального указания по этому поводу нет, поэтому мы пришли к выводу, что в нашем маленьком содружестве разрешать споры при помощи поединков дозволяется. Женя милостиво одобрила этот проект, выразив, правда, некоторое недоумение — где мы достанем лепажи или рапиры, не на кулачках же драться.

О, золотые дни моей, нашей весны... Как просто все это теперь осудить. В какой ужас пришла бы тетя Соня, узнав, как мы профанируем ее любимого Гамсуна, над которым плакала она в свои четырнадцать лет. Что может подумать о нас нынешний советский зэк, угодивший в лагерь за «чтение и распространение»? Что сказал бы Сахаров? Можно ли ему признаться?

Можно! Конечно же, можно. Ведь мальчишеский наш скепсис, ирония, «не принимай все всерьез» были единственным нашим оружием. Против оболванивания. Но где-то глубоко внутри, никому не показываемое, тщательно скрываемое, таилось другое — читая, уже повзрослев, «Викторию», ту самую, когда-то ненавистную, я ведь тоже чувствовал, как какой-то комок подступает к горлу. Но разве можно в этом признаться? Упаси Бог. Мы из другого теста. Распускать нюни, чему-то умиляться... В лучшем случае, можно криво усмехнуться. Но попадая в Москву, без всякой усмешки, затаив дыхание, упивались Иваром Карено-Качаловым — в те дни на Камергерском, во МХАТе, с неизменными аншлагами, шла пьеса Кнута Гамсуна «У врат царства».

«Из чего твой панцирь, черепаха?» — спросили

как-то ее. «Из накопленного жизнью страха», — отвечает черепаха. А у нас он был из сарказма и иронии — негнибаемого, на наш взгляд, оружия. Возможно, оно нас и спасло.

Но однажды Сережа, самый скептический и ироничный из нас, сказал мне то, о чем мы старались никогда не думать.

Мы были вдвоем. Кажется, на последнем курсе. Заканчивали конкурсный проект районного кинотеатра. «Серапионовка» наша распалась, возможно, просто надоело, но страсть к оригинальничанью не прошла — кинотеатр делался в стиле полинезийского бунгало. Всю ночь мы чертили, под утро устали, нашли где-то за тахтой четвертушку и распили ее.

И тут Сережа мне вдруг признался.

— Ты знаешь, Вика, иной раз мне хочется взять в руки винтовку и пойти на врага. И кричать «ура!». Не знаю, во имя чего. Во имя России? Но ее нет. И вообще, надоело над всем насмехаться, хочется что-то защищать. И кто же настоящий враг?

Через несколько лет один из ожидаемых врагов обнаружился. Сережа погиб на фронте. После него осталась жена, та самая Женя, но уже без челки, и дочка Ира, она выросла на моих глазах. Сейчас она больна, очень тяжело больна.

— Но не будем, дядя Вика, говорить о болезнях, — сказала она мне по телефону из далекого Киева. — Это так скучно. Давайте поговорим лучше о папе. Вы знаете, я недавно обнаружила дом, построенный по его проекту. На Кругло-Университетской...

И мы долго говорили о папе, о Сереже, том самом, который не знал, кто его враг.

В то памятное утро после бессонной ночи он сказал еще такое:

— С утра до вечера твердят нам о каких-то идейных врагах, которые нас окружают. А Курач и

Червоный кто, идейные друзья?

Курач и Червоный, оба тоже из нашей среды, студенты, только помоложе, один был партторгом, другой профторгом института. За обоих проекты делали их однокурсники. Кое-кого из них позднее они без зазрения совести упекли в лагеря. Тогда об этой стороне их деятельности мы ничего не знали.

— Идейные друзья, вдохновители? А может, наоборот? Может, именно им надо всадить штык в брюхо?

Больше на эту тему никогда не говорили. Сергей погиб на фронте. Шальной осколок попал ему в брюшину. Курач после войны стал министром финансов УССР.

* * *

Мы чертовски устали. Еле держались на ногах. Прошли в этот день километров пятьдесят-шестьдесят, не меньше. К ночи пришли в какое-то село.

Немца мы не видели, но он подпирал, подпирал. Иногда пронесился над нами мессер. Бомб не кидал, но парочку очередей давал. Мы врассыпную бухались за обочиной мордой в землю.

Я не помню точно, где это произошло. Очевидно, задолго до Дона, потому что со мной был еще мой саперный взвод. Определение не совсем точное, так как осталось от него человек семь-восемь. Потом и этих не стало. К Сталинграду я пришел один, бойцы оседали в деревнях, через которые мы проходили. «Где Сидоренко?». «А хрен его знает, должно к той бабе, что молоко нам давала, присох...»

Но тогда несколько человек у меня еще было. Пришли в село. Ткнулись в одну, другую хату, в третью. Набито битком. Негде плюнуть. Лежат вповалку, впритирку, бульдозером не сдвинешь. Никак до сих пор не могу понять, почему мы с таким

упорством, с такой настойчивостью искали хату. Лето было в разгаре, ни одного дождя, приземлились где-нибудь в рощице и дрыхни. Нет, обязательно хату. Рассчитывать на гостеприимство хозяев не приходилось, в хату набивалось по двадцать-тридцать человек, разве прокормишь. Да и вообще, население относилось к нам, скажем так, сдержанно. На Донбассе, в рабочем краю, более приветливо, точнее, с большей жалостью, но чем ближе к Дону, тем суровее. Многие считали, да и до сих пор считают, что население ждало немцев. Не уверен, думаю, просто мы надоели. Через села проходили тысячи, и все хотели есть, все хотели спать. Уважение к нам как к защитникам давно уже растаяло.

— Товарищ старший лейтенант, сюда, сюда! Нашел!

Кричал Ахримец, помкомвзвода, веселый, разбитной, проныристый парень, который держался меня почти до самого Сталинграда. После Калача он растворился. Сейчас он бежал и махал руками.

— Сюда! Сюда! За мной идите. А то как навалят...

Хата, которую он обнаружил где-то на окраине, отнюдь не была пуста. Но в ней, разметавшись на полу, валялось и храпело человек десять, не больше. Дух стоял нестерпимый. Окна, конечно, закрыты.

— Давайте сюда, я вам тут местечко отвоевал, у окошка, — говорил Ахримец, шагая через солдат, бурчавших что-то во сне. — При желании и открыть его можно, комаров сегодня вроде нет.

Бесцеремонно оттащив за ноги какого-то красноармейца, примостившегося было у окна, Ахримец бросил на пол мой вещмешок.

— Смотрите, тут и книжечка для вас есть, забыл, очевидно, кто-то.

Он снял с подоконника книжку и протянул мне. Это был маленький, очень аккуратный томик в темно-зеленом сафьяновом переплете. Вроде молитвеннич-

ка, только потолще. Я раскрыл наугад.

«Сын мельника шел и думал. Когда он вырастет, он будет делать спички. Вот это ремесло опасное не на шутку: перепачкаешь пальцы серой, и ни один смельчак не решится протянуть тебе руку...»

Я не верил глазам своим. Кнут Гамсун. Издание Гранстрем. 1912 г. СПб. «Виктория», «Пан», «Смерть Глана», «Мистерии»...

Откуда? Кто? Почему?

— Кушать будете? — спросил Ахримец.

— Нет, нет. Иди, спи.

Я примостился на своем вещмешке, взял в руки книжку — начало уже светать — и тут же заснул.

Где я ее потерял, где оставил? По-видимому, в Сталинграде, на Тракторном заводе. После знаменитой бомбежки 23 августа, превратившей город в груды развалин, нас, саперов, перекинули на Тракторный, готовить его к взрыву. (К слову, массивированный этот налет знаменит еще и тем, что великий Эйзенштейн посвятил одну из своих лекций во ВГИКе разбору нескольких страниц из моей книги, где рассказывалось об этом налете. Разбор, на мой взгляд, глубоко ошибочный и все же для меня лестный. Но это так, попутно).

Сафьяновый томик, судя по всему, я впопыхах забыл в нашей щели недалеко от ТЭЦ. К концу сентября мы, взрывники, получили приказ срочно переправиться на левый берег, а через два дня оказались опять на правом, получив назначения в полки. И там, развязав вещмешок, я не обнаружил книжки. По-видимому, забыл-таки на Тракторном.

По моему, я выучил ее наизусть. Свободного времени было предостаточно. Немцы окружали нас, но вперед не рвались. Бои шли на «Красном Октябре», «Баррикадах», на Мамаевом кургане. У нас было тихо. Фрицы вяло постреливали из минометов, косяки самолетов, минуя нас, бомбили центр и заводы. Дни стояли ясные, прозрачные. Под генера-

торами ТЭЦ и на станции масляных переключателей лежали мешки с аммонитом, от них шли провода в нашу щель, и только приказ, так и не пришедший, мог заставить нас включить маленький рубильник у входа, и все взлетело бы на воздух. Но приказ так и не пришел, а мы, в ожидании его, бездельничали, загорали, глушили в Волге рыбу, клеили целлулоидные портсигары, невероятное количество целлулоидных листов валялось почему-то в двух шагах от нашей щели.

А я читал.

... Но молодые господа посмотрели на Юханнеса с удивлением. Как же это он бросил лодку? Ему ж поручено было ее стеречь.

— Ты отвечаешь мне за лодку, — заявил Отто.

— Хотите, я покажу вам малинник, — предложил Юханнес.

Пауза. Только Виктория спросила:

— Малинник, а где он?

Но Отто сказал:

— Сейчас нам некогда.

Сын мельника сказал:

— И еще я знаю, где можно набрать ракушки. Они лежат на белом песчаном дне далеко от берега. Надо отплыть на лодке и потом прыгнуть.

Отто фыркнул.

— Тоже водолаз нашелся, нечего сказать!

Юханнес тяжело перевел дух.

— Хотите, я заберусь на вон ту скалу и сброшу вниз большой валун? — предложил он.

— Зачем?

— Просто так. А вы будете смотреть...

Серия мин прекращает мое чтение. Но через пять минут я опять читаю.

Помню довольно горячий спор где-то на коктейльском пляже о том, что больше привлекает читателя в книге. Знакомое, твое, где ты можешь

сравнивать или, наоборот, чужое, далёкое, неизведанное. И тогда Владимир Борисович — был такой замечательный человек, критик — сказал:

— Все зависит от того, в каких условиях ты читаешь. Измотанной советской женщине, простоявшей три часа в очереди, хочется читать про королеву Марго, парикмахерше или маникюрше — «Сагу о Форсайтах», правда, не читать, а смотреть в телевизор, помните, что тогда творилось? Молодому советскому поколению меньше всего про себя, там врут, хочется снегов Килиманджаро.

— А Аксенов? — спросил кто-то.

— Это те же снега. Хемингуэй, Хемингуэй... Далекий, как созвездие Веги. А я люблю про войну, вероятно, потому, что никогда не нюхал пороху.

И тут я заговорил о Гамсуне и Тракторном, о предсмертном письме «Виктории», прерываемом свистом мин, о черном круглом столе со свечой на Трехсвятительской улице, о сафьяновом томике на подоконнике в донской станице.

Как он туда попал? Кто его оставил? Может, Сережа? Встретил же я двумя или тремя неделями позже в Сталинграде Леню Серпилина, своего однокурсника. Однажды он был даже допущен на нашу «Серапионовку». Мы знали, что он пишет стихи и, милостиво соизволив, разрешили прочесть их нам. Как ни странно, стихи нам понравились, но хвалу нашу приправили таким количеством перца, что растерянный Леня чуть не плакал. После войны он стал писателем, одно время редактировал украинскую «Литературную газету».

Загорая под нежарким, осенним волжским солнцем, я мысленно перебирал, кто же был этот лейтенант или капитан, таскавший в своем сидоре Гамсуна, не расстававшийся с ним даже в дни отступления и перед сном, с разбитыми в кровь ногами отпавлявшийся в далекую Норвегию, в маленький

полусонный городок на берегу моря. Только Сережа, никто другой. Валерика не было уже в живых. Любитель острых ощущений и всего недозволенного, он попробовал морфия и не проснулся. Это произошло, кажется, на третьем или четвертом курсе института. В ту же старшую ночь Сережа и Женя соединили свою жизнь навсегда. В войну, когда Сережа ушел на фронт, Женя пережила всю оккупацию, с больной матерью Лидией Васильевной и маленькой Иркочкой на руках. Но все это я узнал уже потом. И как Женя помогала моим, трем старым женщинам, бабушке, маме и тете Соне, как носила им картошку и мыла полы — воду таскать приходилось за два квартала, с Жилинской, там во дворе был кран. В холод, гололедицу. Веселые годы...

После ранения, оказавшись в Киеве, я, не без протекции Лидии Васильевны, известного в Киеве гинеколога, попал в Окружной военный госпиталь и часто, будучи ходячим, навещался оттуда в большую их комнату в коммуналке на Саксаганского, 32. Потом, демобилизовавшись, зачастил. У них было тихо и уютно. Примостившись в большом вольтеровском кресле у окна, я писал свойopus, или роман — так он в ту пору назывался — о войне. Писал на детских ученических тетрадях, которые с трудом, но можно было достать. Иногда отрывала их от себя маленькая Ирка. К моему творчеству она относилась серьезнее всех. «Тише, дядя Вика пишет своего Хемингуэя». Хемингуэй стал тогда нашим новым кумиром, сменившим, если не забытого, то отошедшего на задний план Гамсуна...

— Женя, а не было ли у вас с Сережей, — спросил я как-то у нее, — маленького такого томика в кожаном переплете с золотым обрезом? Рассказы Гамсуна?

Женя загадочно улыбнулась.

— Не помню. Кажется был...

Но нет, тот лейтенант, что забыл книжечку на подоконнике, не мог быть Сережей. Сережа не отступал от Харькова, он воевал на другом фронте. Кажется, Калининском.

* * *

Дом был заперт. Мы обошли его со всех сторон, ища кого-нибудь, кто мог бы нам его открыть и поводить по комнатам, но никого не было.

— Ну и Бог с ним, — сказал Микола, мой друг. — Говорят, он не очень любил этот дом, работал, а иной раз и ночевал в своей хибарке, она там, в глубине, в чаще.

Мы еще раз обошли дом, заглядывая в окна. Чистота и порядок в нем были идеальные. Паркет блестел, и множество столиков, этажерок и мебель в чехлах отражались в нем, как в зеркале. На стенах висели картины, но трудно было разобрать, что на них изображено. Во всяком случае, ничего абстрактного. Поражали своими размерами люстры с хрустальными подвесками.

— Это стиль норвежской буржуазии, — пояснил Микола. — Не его стиль, поверь мне.

В этом доме жил Кнут Гамсун. Здесь провел последние свои годы, здесь и умер. Вокруг расстился запущенный сад, переходящий в нечто вроде леса, вернее — опушки леса. Недалеко от поместья протекала речка, а, может быть, не речка, а очень извилистый, глубокий залив. К берегу прилепились шаткие деревянные мостки, на них старик любил сидеть часами и удить рыбу.

— А кто здесь сейчас живет? — спросил я.

— Живут или не живут, не знаю. Возможно, заезжают летом на какое-то время, но принадлежит дом сыну Гамсуна. Думаю, нам повезло, что мы его не застали. Он был гитлеровским

летчиком, награжден даже Железным крестом.

Я этого не знал. Так же, как и всех деталей трагической судьбы Гамсуна. А она, действительно, была трагична.

Он симпатизировал Гитлеру. Коллаборантом, по видимому, не был, но в нацистской идеологии ему что-то импонировало — то ли воспеваемая ею сила, мужественность, окопное братство, то ли все, связанное с Нибелунгами, нордическими легендами. В оккупированной сопротивляющейся Норвегии подобное поведение считалось предательством. После войны Гамсуна судили. На какое-то время заточили в психиатрическую лечебницу. Потом помиловали, и последние годы он провел в этом самом имении. Здесь и работал над последней своей книгой, девяностолетним стариком. Я слышал, что это лучшее из всего им написанного. Какое-то подведение итогов и рассказ о самых тяжелых днях его жизни. К сожалению, я не читал этой книги, хотя она у меня есть, но, увы, по-норвежски. Приятельница же моя, которой я подарил такую же, хорошо знающая скандинавские языки, так и не удосужилась ее прочесть. При следующей встрече я сделаю ей строгий выговор.

Мы ткнулись, для очистки совести, в какую-то пристройку, опять никого не обнаружили и пошли искать хижину Гамсуна. Это оказалась маленькая дощатая хибарка с лесенкой в четыре ступеньки. Говорят, он смастерил ее собственными руками. Став на цыпочки, мы заглянули в окошко. Внутри оказалась более чем спартанская обстановка. Простой деревянный стол, стул, этажерка с книгами, очевидно, любимыми (большое количество других, надо думать, менее любимых, заполняло массивные книжные шкафы в большом доме). На столе стояла очень обыкновенная чернильница,

рядом перо, в вазочке несколько карандашей. Тут же лежало пенсне, знаменитое гамсуновское пенсне. Для кого все это сохранялось? Для друзей, знакомых или, застань мы кого-нибудь, нас за известную плату впустили бы внутрь и рассказали бы — вот здесь он писал свою последнюю книгу, печальную лебединую песнь, писал обычным пером, не признавал авторучек. А здесь, в большом доме, любил сидеть на этом диване и слушать, как ему играют на рояле Грига. А может, не Грига, а вовсе Вагнера, у Вагнера, оказывается, были фортепьянные пьесы.

Мы посидели немного на покосившихся ступеньках. Думали о проходящей славе, «*Sic transit gloria mundi*». Впрочем, слава Гамсуна не прошла. Только омрачилась, тяжело омрачилась. В Советском Союзе он долго был запрещен, не издавался. Возвратом своим и послевоенным переизданием обязан Илье Эренбургу. Перед смертью он сделал много хорошего — кроме Гамсуна, вернул нам и Пикассо. Пикассо был коммунистом, но в Союз приезжать не хотел. Боялся разочароваться. Не без основания. В Союзе его не жаловали. Гениальный художник считался всего-навсего формалистом. Что в искусстве равносильно было понятию «враг народа». Естественно, что в музей таких не пускали. Юбилейная выставка в Москве своим появлением обязана целиком Эренбургу. В очереди простоять надо было не меньше часа.

Уезжая, мы прошли мимо могилы Гамсуна. На ней высился небольшой бронзовый бюст, печальный, задумчивый. Я сорвал несколько полевых цветочков и положил на могилу. На могилу великого писателя, склонившего свою седую голову перед преступником. Я до сих пор не могу понять, как этот маленький, с противной круглой спиной челове-

чек, в идиотской, надвинутой на уши фуражке, с беспокойными руками, поминутно одергивающий мундир, как мог он вызвать такое преклонение? Чем он покори́л людей? Экзальтацией, какой-то магической силой, о которой говорят те, кто его слышали? Я много раз видел его на экране. Выступающим с трибуны, на военных парадах, на эффектно срежиссированных Альбертом Шпеером спектаклях нюрнбергского стадиона, медленно идущим по широкому проходу между тысяч восторженных и самозабвенно кричащих партайгеноссе, штурмбанфюреров, обезумевших, влюбленных в фюрера юнцов... Но человек, написавший «Викторию» и «Мистерии» не был ни тем, ни другим, ни третьим, но вот тоже преклонил колена...

Как-то я встретился с бывшим советским военнопленным. В плен он попал где-то под Петсамо. Сначала сидел в лагере, потом работал, по его словам, батраком у Гамсуна, то ли в этом поместье, то ли в другом. Рассказывал, что иногда, по воскресеньям, Гамсун собирал их у себя и читал свои рассказы. Никто ничего не понимал, но было тихо и спокойно. Вообще рассказчик мой на плен не жаловался, воспоминания о последовавшем советском лагере были куда менее идиллическими.

Я прожил тот раз в Норвегии около месяца. Был гостем Мико́лы Радейко, популярного и уважаемого в Осло врача, украинца по происхождению, бежавшего из-под Львова сначала от немцев, потом от советской власти. В Норвегии прижился, потом полюбил ее. Когда я гощу у него, мы всегда говорим по-украински.

В тот раз я жил в маленьком его домике в Лисебу. Это километрах в ста на юг от Осло. Домик вроде как в лесу, среди холмов. Совсем неподалеку озеро, лодочка. По ночам меня навещали лисы. Утром я обнаруживал их следы, опрокинутое ведро

с остатками моих трапез. Жил я одни, работал. Холодильник всегда полон, никаких забот. Библиотека, книги, в основном, норвежские, но встречались и украинские. Роясь в них, я нашел кое-что и интересное. Про Леся Курбаса, Павла Тычину. В двадцатые годы Курбас считался интереснейшим, самым знаменитым украинским режиссером. Левого, конечно, толка. Его посадили, и больше никогда никто его не видел. Тычина был поэтом. Тоже знаменитым. Я не знал его ранних стихов. Прочитав, понял, что люди, говорившие мне о нем как о гениальном поэте, может быть, несколько и преувеличивали, но поэтом он был настоящим. Советская власть сломила его. Он стал академиком, министром и всеобщим посмешищем... Я немного знал его. На всю жизнь он остался каким-то перепуганным, озирающимся. Говорят, когда-то он написал стихи, приветствующие Петлюру. На этом его и загребли, и до смерти своей он искупал свою вину.

Две горестные судьбы. Двух больших писателей. Оба споткнулись, столкнувшись с властью. Один поверил в ее силу, другой испугался и подчинился. Одного за это судили, другого вознесли. Чья судьба трагичнее? Один все же остался писателем, другой перестал им быть...

Прощаясь с покосившейся, сиротливой хижинкой, у окошка я подобрал маленький камешек с ее ступенек. Он лежит у меня на полке возле книги воспоминаний жены Гамсуна о своем муже. На обложке рядышком старичок и старушка. Он седобородый, совсем не похожий ни на Нагеля, ни на лейтенанта Глана, ни на самого себя, каким был в годы, когда считался одним из самых знаменитых писателей в мире. Уютный старичок с большой седой бородой.

Вермонт чем-то похож на Норвегию. Не северную, с ее шхерами и фиордами, а южную, там, где «ухо» скандинавской собаки. Так же малоллюдно, такие же поросшие лесом холмы, озера, пожалуй, только сосен и елей в Норвегии побольше. Такие же разбросанные по взгорьям деревянные домики с обязательными флагштоками, разница только в центре — в Вермонте светлые, беленькие, в Норвегии коричневые, темно-бордовые. Впрочем, дом моего Миколы, в котором я жил, был беленький.

Той осенью я жил совсем один. К концу недели приезжал Микола на своей машине из Осло, загружал холодильник, потом мы совершали небольшой вояж вдоль побережья, перекусывали в каком-нибудь рыбацком кабачке, и он катил обратно. До следующей субботы я превращался опять в отшельника. Вечером бродил по лесным тропинкам или лениво хлопал веслами по пустынному озеру, пугая диких уток.

Здесь, в Вермонте, я считаюсь профессором. Три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, я читаю лекции так называемым аспирантам. Их всего семь: шесть мальчиков и одна девочка. Очень внимательно меня слушают, но вопросами не засыпают. То ли застенчивые, то ли не знаю что. А в общем, славные ребята. Все ли они понимают, что я им говорю? Рассказываю о Маяковском, я прочитал три любимых моих стихотворения: «Хорошее отношение к лошадям», «Скрипка и немножко нервно», «Военно-морская любовь» — про миноносец и миноносочку. Когда-то я их читал с эстрады. Сорок с чем-то лет спустя, впервые, с тех пор, прочтя их вслух, я спросил милых моих американцев:

— Ну как?

Молчание.

— Не поняли?

- Да.
- Что да?
- То есть, нет
- Не поняли, значит?
- Нет. То есть, да.
- Значит, поняли?
- Нет...

Зачем они учат этот, такой трудный для них язык? А их человек двести, никак не меньше, и немалые деньги платят веселые эти ребята, в меру шумные, всегда улыбающиеся, очень воспитанные. А вот учат, учат, сдают экзамены. Страшно любят слово «пожалуйста» — английское please, без которого у американцев не обходится ни одно предложение.

На утренний завтрак, к семи утра, я не хожу. Милые мои соседи Валерия Осиповна и Николай Всеволодович ходят, у них утренние лекции, я же ограничиваюсь грейпфрутом и чашечкой кофе у нас на кухоньке. И засаживаюсь за работу. На крохотной верандочке, выходящей в садик. Солнце пробивается сквозь листву, еще не жарко, что-то где-то чирикает, телефон в прихожей молчит — это тебе не парижский — твори себе и твори. Тут я расхожусь с Хемингуэем, он считал, что Париж самый подходящий город для работы. По-моему, хуже нет. Кроме августа, когда парижане уезжают на юг. Я остаюсь. Тогда и для работы Париж пригоден, безлюдный, без автомобильных пробок, с закрытыми магазинами, но все же с кафе, без них Париж не Париж.

Но сейчас Вермонт, Нортфилд — крохотный городок, только на очень подробных картах можно его обнаружить. Беленькие домики с верандами, утопающие в зелени. На некоторых даты — 1851, 1854. Над входом фонарики. Медное кольцо вместо звонка. Газоны, их все время стригут, по воскресеньям сплошной стрекот машинок. Никаких заборов, загоронок. В тени нежатся собаки, мохнатые

или подстриженные, безмолвные — в Америке собаки вообще не лают. Вдоль главной, как во всех американских городишках, Мэйн-стрит три или четыре островерхие церквушки. Такие же беленькие, с флюгером на верхушке, там, где у французов обязательный петух. Тихо. Только листья шелестят на могучих вязах и кленах, у каждого дома высится такой гигант, а то и два, и три.

А на горке — университет, Норвичский, тот самый, где учатся ребята — красные кирпичные корпуса и тоже часовенка с колючей колокольней.

И вот в эту тихую, устоявшуюся, скучноватую, очень полезную для работы жизнь вторглись друзья. Оба были когда-то ленинградцами, сейчас рочестеряне — есть такой город Рочестер, в штате Нью-Йорк, миль триста от нашей обители.

Устроились они в гостинице, десять долларов в сутки, по-божески. Питаются в студенческой столовой. В свободное время мы колесим на их стареньком, помятом фордике по дорогам зеленого, уютного Вермонта.

И занесло нас в нашем автобродяжничестве в совсем уже крохотный, еще меньше Нортфилда, Кавендиш. До последнего времени он ничем не был примечателен, сейчас знаменит — в нем живет самый крупный русский писатель.

— Хотите, я ему позвоню? — спросила приветливая хозяйка магазинчика, куда мы зашли купить какую-нибудь снедь, а заодно и фотопленку.

— Нет, нет, — сказали мы. — Он не любит, когда ему мешают работать. А работает он с утра до вечера.

— Зачем же вы тогда приехали? — удивилась хозяйка.

— Просто любим кататься, — сказал я. — И вообще, нет ничего ненавистнее телефонного звонка во время работы.

Мы купили соленого с сыром печеньца Риц,

несколько открыток, фотопленку «Кодак» (нет той дыры на земном шаре, где не лежали бы на полках любой лавчонки эти маленькие желтенькие коробочки, кроме одной шестой части этого же земного шара — там они на вес золота) и поехали вверх по проселочной дороге.

Миновав мостик и красную ферму слева, мы проехали еще с полмили, пока не достигли густых зарослей, обнесенных легкой сетчатой загородкой. За ней и живет писатель. Дома мы так и не увидели, заросли густые, пуша. Проехали мимо ворот с какими-то непонятными устройствами, то ли фотоэлементами, то ли чем-то спрашивающим «кто там?», и повернули назад. Проезжая мимо запущенного кладбища, решили сделать привал.

Я люблю кладбища. Не Новодевичье, с гранитными генералами при всех орденах, не скучные, безликие французские, а покосившиеся кресты русских погостов и, как выяснилось, здешние, с замшелыми плитами. Тут они вертикальные, без всяких холмиков. На некоторых маленьких звезднополосатый флажок, военный, значит.

Мы поставили машину в тень и растянулись на травке. Вечерело. Над головой пробегали тучки небесные, вечные странницы. Жара спала. Ветерок.

Кладбище располагает к размышлениям. О великом, вечном, о судьбах.

— Суета сует, — сказал кто-то из нас после затянувшегося молчания. — Суета сует и всяческая суета.

— И томление духа, — добавил другой.

— И еще сказал Екклезиаст, — это я уже блеснул эрудицией, — что и мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. Все будет забыто и, увы, мудрый умирает наравне с глупым.

— А себя вы к какой категории причисляете, Виктор Платонович?

— Считаю вопрос неуместным и оскорбительным.

Пропускаю его мимо ушей. Ибо видел я все дела, какие делаются под солнцем и понял, что Екклесиаст ошибается. Ибо о смехе он позволил себе сказать «глупость», а о веселии «что оно делает?». Моя мама была веселой. Она тоже видела все дела, которые делаются под солнцем и осталась веселой. До последних своих дней. И когда я куда-нибудь уходил, всегда говорила: «Веселись, Викочка». Даже, когда шел на партсобрание. И я, по мере сил, всю жизнь пытался веселиться, даже на партсобрании.

— Не зря ваша мама сказала вам как-то: «Главное, не будь, Викочка, благоразумным». Вот и вырастила легкомысленного.

— Мудрый человек, живущий и пишущий в полумиле от нас, тоже так считает. А я не обижаюсь. Ибо я не менее мудрый, хотя и легкомысленный.

— От скромности не умрете, Виктор Платонович.

— А я вообще о смерти не думаю. Даже на кладбище. И в Сталинграде не думал, поверьте мне, хотя она была вокруг.

— Преувеличиваете.

— Нет. Мы к ней привыкли. Она была повседневностью. И у веселого нашего Беньяша, на его КП первого батальона, перед заданием устраивались вечера самодеятельности. Пели, танцевали и было очень весело.

В Сталинграде мои собеседники не воевали, но Светлана все же была одним из редакторов фильма о Сталинграде «Солдаты», а в нем встречалась не только смерть, но и улыбка, шутка. Без них мы бы не выиграли этой страшной битвы. Это один из ответов на вопрос — как вы победили?

— Пожалуй, и в лагерях это многих спасало, — сказал Светланин муж.

— Думаю, что да. Но я там не был. Спросите у человека знающего, он тут рядом, недалеко ходить.

Все засмеялись. Заговорили об Иване Денисовиче. И я вспомнил, как в далекой Австралии года три тому назад, в Сиднее, в университете, в ожидании, пока соберутся студенты, очень приветливый, немного застенчивый профессор Ульман, в прошлом тоже ленинградец, сказал мне:

— Вы, вероятно, забыли, а я хорошо помню, как мы с вами познакомились. Это было давно, лет двадцать прошло. Я ехал из Полтавы, занимался там Короленко, и решил на обратном пути сделать крюк, заехать в Киев. Зашел к вам, почему-то без звонка. Вы тут же помчались в «Гастроном» и весь вечер могли говорить только об одном, о рождении нового гениального писателя. Вы вчера вернулись из Москвы, где Твардовский вам дал почитать некую рукопись. «Потрясающе! — кричали вы. — Бомба! такого еще не было! Трифоныч никому слова не даст вымолвить, читает вслух. Фамилия? Да вы ее никогда не запомните. Но через год, помяните мои слова, даже раньше, она будет у всех на устах. Во всем мире...»

Да, в те дни мы ни о чем другом говорить не могли. Потом я познакомился с автором. Особенно близкими друзьями мы не стали, но в Москве иногда встречались. А как-то по дороге на юг он заезжал даже ко мне, в Киев.

Последний раз виделись, когда он не носил еще бороды или только начинал отращивать скандинавско-скиперскую с пробритой верхней губой. Мы сидели втроем на лавочке в скверике возле редакции «Нового мира». Твардовскому надо было ехать в Ленинград на конференцию некоего Европейского сообщества писателей, и ему ужасно не хотелось.

— Поезжайте со мной, очень мне облегчите, — просил он Исаича. — Этого типа уже не пускают, проштрафился, — он указал на меня. — Что мне там делать одному, горемычному? Не с кем даже перемигнуться.

Исаич наотказ отказался, не любит он эти сборища. Нет-нет, и не просите.

— Ну, тогда надо горло промочить, — как-то жалобно промолвил Трифоныч и стал озираться в поисках подходящей «точки».

— А вон киоск с водой, — сказал Исаич.

Мы с Трифонычем горько вздохнули: темнота...

Ох, и не любит Исаич этого дела. Как-то он мне сказал:

— Виктор, ты должен в шесть раз меньше пить!

— Почему в шесть? — естественный вопрос. — Может, в пять разрешишь?

— Брось эти шутки, — он начал сердиться. — Будто ты не видишь, что творится вокруг... Страна спилась... И ты, и Твардовский... Вы забываете, что вы писатели...

Что я мог возразить? Ничего. Прав, конечно. Но завета его на счет шести раз, каюсь, так и не выполнил, остановился где-то на трех.

Как давно все это было. Твардовский ходил еще в маститых, на конференцию все же поехал, и не только в Ленинград, но и в Гагры, к Хрущеву, где читал своего «Теркина на том свете». Счастливые времена... Зря мы тогда над Никитой издевались, кукурузник, мол, клоун. Кое-что хорошее он все же сделал, и в списке его благодеяний «Иван Денисович» не на последнем месте.

Потом Твардовского прогнали из «Нового мира». И хотя попадают там и сейчас не всегда плохие вещи, нет уже линии, нет лица, хлынули туда те, кого Твардовский и на порог не пускал. Вскоре он умер, осиротел наш Парнас. Потом стали изгонять писателей. Одного за другим. И рассеялись они по белу свету. Америка, Франция, Англия, Германия, Израиль... Одного я обнаружил даже на Гавайских островах, не самого великого, но все же русского.

И вот один из этих изгнанников, автор той самой бомбы, о которой я кричал весь вечер оглушен-

ному мною профессору Ульману двадцать лет тому назад, сейчас где-то в полутора минутах езды от нас. Сидит и пишет. Подобно Гамсуну, в маленьком отдельном домике. Так говорят. И никто его не видит. И он никого. Пишет...

Однажды он спросил меня — застряли в памяти эти мелочи — каким видом транспорта я пользуюсь: поездом или самолетом?

— Конечно, самолет, — без записки ответил я. — Вечно же торопимся.

— И напрасно. В самолете не успеешь обернуться, как уже прилетел. А в поезде и поговорить можно, с интересными людьми познакомиться...

— С майором, например, тут же пол-литра вытащит.

Исаич не подхватил шутки. Не помню уже, рассказал ли я ему тогда историю, которую любила вспоминать моя тетка. В незапамятные времена жила она в Англии, у Черткова, ближайшего друга и последователя Льва Толстого. Так вот, Чертков, будучи толстовцем, не мог позволить себе ездить в первом классе. Только в третьем. Но — маленькая деталь — когда ездил, покупал не один билет для себя, а целый вагон.

Ленинградцы мои рассмеялись и решили, что Толстой так бы не сделал. И мы заговорили о Толстом. О «Войне и мире», которую я недавно перечитал и окончательно пришел к выводу, что это лучшее из того, что было когда-либо написано. Даже лучше Екклезиаста. Мы опять рассмеялись.

И еще многое вспоминали мы в тот тихий, предзакатный час, лежа на травке среди чужих могильных плит. О жизни, о судьбах, об Америке, в которую так по-разному занесла нас нелегкая.

Я мало знаю Америку. Она большая. И, говорят, очень разная. Я повесил на стенку карту Соединенных Штатов. По утрам, не вставши еще, и по ве-

черам, перед сном, «разучиваю» штаты. Самый большой, внизу, Техас, по ихнему, Тексас; самый маленький, совсем крошечный, на севере, Род-Айленд. Знаю уже, где Оклахома, Невада, Небраска, Алабама, в Калифорнии я даже побывал. Очень хочется пересечь всю Америку на марктвеновском двухтрубном шлепающим колесами пароходе — говорят, они еще есть, — по Миссисипи, сверху донизу. Хочется в Гранд-Кэньон... Но сейчас я в Вермонте, в одном из самых маленьких штатов, говорят, самом бедном. Понятие, более чем относительное, особенно для нас, русских. И успел уже влюбиться в него. В его холмы, пустынные дороги, «хайвэй», даже в нелепый климат — то дикая жара, обливаешься с головы до ног потом, и тут же вдруг заморосит дождик, а ночью надо теплым одеялом укрываться, Николай Всеволодович иногда даже отопление включает.

А люди?

Устроили как-то студенты вечер самодеятельности, вечер талантов по-ихнему. И когда три милых американских девушки, одна из них негрityночка, негромко, стесняясь, запели вдруг Окуджаву, песенку про Арбат, я почувствовал, что со мной что-то происходит. Нет, я не всплакнул, но почти, был на грани. Потом маленькая итальяночка в красной юбке и совсем не русском, скорее тирольском, веночке на голове, танцевала не то «барыню», не то трепака и тут же делала кульбиты, и я опять был на грани. Затем ребята в джинсах и в маечках с надписями, которые очень осуждает «Комсомольская правда», пели «Среди долины ровныя...». И опять умиляюсь. И вспоминаю сталинградскую самодеятельность, Беньяша...

Как ни странно, но американцы именно умиляют меня. То ли простотой, то ли доброжелательностью, то ли инфантильностью своей. Поехали мы с мсими ленинградцами в некий Стимтаун. Вычитал я в проспекте, что там музей паровозов. Тех самых, по ко-

торым тоскует душа — гудящих (разве электрички так гудят?), пыхтящих, дымящих. Оказалось, их там очень много — вроде резервации, — печально вспоминающих свою былую славу. Не наших, правда, но тоже знакомых, по всяким вестернам — знаменитые «пасифики», с обязательный колоколом, острым спереди коровоотбрасывателем, с ярким фонарем не у трубы, а на брюхе. Стоял там и грустил знаменитый «Биг бой» — «Здоровый парень», колес не счесть и длиной с версту.

Но главное оказалось не это. Главное оказалось, что, купив билет, ты можешь сесть в вагон, и тот самый «энджин» (машина), который недавно еще гонял по какой-нибудь Охайо-Балтимора-Рэйрод, пыхтя и отдуваясь, заливаясь тем самым гудком, который возвращает тебя в детство, раскачиваясь, стуча на стыках, помчит тебя среди холмов, по железным мостам через каменистые речки в какой-то неведомый Честер, а потом обратно. Полтора часа твоего детства, отрочества и юности. Даже лучше. Тогда я мог только мечтать оказаться в будке машиниста. А тут не только разрешили, а с радостью, с веселыми улыбками, и машинист и кочегар обнялись перед моим фотоаппаратом. И седобородый, в форменной фуражке, начальник поезда, и молодой, улыбчивый, с усиками парнишка-проводник, разносящий заодно напитки с такой же готовностью. И всем почему-то было весело. И каждый раз, проверяя билеты — туда и обратно — кондуктор с самым серьезным видом говорил, что сейчас остановит поезд и высадит безбилетную пассажирку, пятнадцатилетнюю Габриэлу, специально прикомандированную к нам: увидели, что мы русские.

...Приехал к нам цирк-шапито. Привезли слона, маленьких пони, собачек. Все они бегали, прыгали, танцевали, становились зачем-то на колени, даже

слон с трудом это сделал и было обидно за него, ему магарадж возить, а он перед нами унижается, кланяется. Пожалуй, только это огорчило, остальное же веселило, опять окунало в детство — и старый, морщинистый клоун с красным носом, и не ахти какие жонглеры, и крутящиеся на трапециях девицы в блестящих — Куприн, Куприн! И восторженная зависть детишек, рассеявшихся на скамейках, и их папаш и мамаш, что-то жующих и пьющих, и шагающих между ними два парня с подносами, на которых пакеты с кукурузными хлопьями, и полицейский в каких-то бляхах и застёжках, подошедший к нам и сказавший с милой улыбкой, что пиво можно, конечно, пить, но только завернув банку в кулек(?) — все это меня только радовало и умиляло. Ребячество, инфантильность? Пусть! Насколько все это симпатичнее нашего вечного «нельзя»! Сорить, курить, ходить в шортах! Все здесь бросалось на землю — салфетки, стаканчики, кульки — а наутро, когда цирк, со всеми своими слонами и собачками в огромных грузовиках-трейлерах, уехал веселить других ребятишек и их папаш все было аккуратно подметено, как будто и не было тут никаких киосков, тиров, каруселей, веселой, разношерстной толпы.

В то же утро — это был праздник, День Независимости, — на главной нашей Мэйн-стрит, возле белой методистской церкви состоялся аукцион. То же зрелище. Я две пленки израсходовал. В дикую жару, обливаясь потом, под тентом, под зонтиками, в собственных, привезенных шезлонгах, не меньше сотни молодых, пожилых и очень даже пожилых людей обоего пола интересовались и волокли потом в свои длиннющие лимузины какие-то столики, этажерки, торшеры, старые телевизоры, а один парень, надрываясь, тащил пятипудовую, не меньше, гирию... А аукционер, живописнейший, подтянутый старик в ковбойской шляпе, плюя на жару, бодро выкрикивал непонятные мне слова, тыкал пальцем во все стороны, пока палец

этот не застывал на какой-нибудь весьма пожилой даме с голубым перманентом и в розовых штанах, захотевшей приобрести четыре картины с якобы швейцарским пейзажем, гипсовый бюст Линкольна, утюг и кофейную мельницу. А подбежавший тут же вихрастый веснушчатый внук погрузил всю эту рухлядь в сверкающий никелем «Шевроле»...

И почему этих людей — таких приветливых, симпатичных, доброжелательных, пусть иногда смешных — почему их так не любят? Во Франции, в частности. «Ами гоу хоум!» Американцы, убирайтесь домой! Сколько таких надписей видел я в Париже, и в Бонне, и в тихом, с колокольным перезвоном, Ассизи святого Франциска — там, на холме, у седых стен средневекового замка, соорудили даже какие-то гигантские щиты с изображением черепа в американской каске.

Почему? Ведь американцы всем помогают, всех содержат, кормят, даже недругов своих (белый, как вата, хлеб и какао знаменитой благотворительной АРА, подкармливавшей нас, полуголодных детей двадцатых годов и послевоенная незабвенная свинотушенка, а до этого танки «Шерман», «Аэрокобры», «Студебеккеры»...) И не только кормят, а и кровь проливают, американские танки первыми вошли в Париж. Вспоминают сейчас Хиросиму, можно было, мол, и без нее обойтись, осуждают за Сальвадор, а о лэндлизе, о потопленных конвойных судах, о погибших за тридцать земель от своих оклахомских или вермонтских жилищ американских парнях забывают. А ведь они не только свою, но и нашу хату защищали в джунглях островов Индийского и Тихого океана. Не только мстили за Пирл-Харбор, нам помогали. В Сталинграде мы питались все той же свинотушенкой и апельсинами из Калифорнии — да-да, было и такое! — а как-то даже доставили партию американских противопехотных мин, которые мы с опаской изучали, инструкцию где-то затеряли...

И вот ругают. «Гоу хоум!» Правда, не мы, не русские. Здешние, в том числе и трое на вермонтской травке. Мы возмущались, огорчались, хвалили, забавлялись, вспоминая всякие милые мелочи. Ругали только американскую почту — посылочка с забытой в Нью-Йорке записной книжкой шла целую неделю, подумать только! — и стрижку травы — это ужас! У американцев это мания, все время стригут. Вот и сейчас рычит эта чертова машина на соседнем участке, будь она проклята. Ну и признаюсь, включились во всеобщий хор русских, осуждающих американский безвкусный хлеб. То ли дело наш московский ржаной или пеклеванный, или арнаутка, а украинская паляница?

Остальное же все нравилось. Даже наши судьбы — расставались, казалось, навсегда, а вот и встретились, и где, в американской «глубинке», в Вермонте, о существовании которого я, например, узнал только когда поселился в нем писатель, которым мы гордимся.

Гордимся и в чем-то осуждаем.

Нет — «работа не волк, в лес не убежит» — не его девиз, знаем, но не лишает ли он себя многого, что так нужно не только писателю, но и человеку? И помогает жить. «В поезде и поговорить можно, с интересными людьми познакомиться...» А почему бы не воспользоваться здешним пыхтящим, где никаких майоров с пол-литрой, а веселые проводники? Послушать милых девочек, поющих Окуджаву и Новеллу Матвееву про штат Миссури, сходить на вечер, где американские ребята хлопают Науму Коржавину — он им почему-то понятнее Маяковского. Или вечером у «Папы Джона» посидеть, попить пивца с теми же ребятами, которых ты днем чему-то учил, рассказывал, как трудно и важно быть писателем в нашей стране. А сейчас за кружкой пива, закусывая острым вермонтским сыром, понять, наконец, зачем

же они учат русский язык. Да просто нравится им все русское. И может быть, не так Пушкин и Достоевский, который им интереснее, чем Толстой — «Но ей-Богу, «Войну и мир» прочту!» — или судьба Пастернака, Мандельштама, и не выдержавших всего Есенина и Маяковского — а я им еще и про Фадеева и Шпаликова, таких разных — а то, что кто-то из них побывал уже в Москве, во многое, во многих влюбился, а многого, увы... Вот и объясняешь им про это второе многое...

(Я не читаю им лекции, я веду семинар. Это значит, что я могу им рассказывать все, что влезет в голову. И я рассказываю о том, чего нет в учебниках, ни советских, ни здешних, о писателях, с которыми встречался, хороших и плохих, талантливых и бездарных, пьющих и непьющих... Но об одном из них, очень хорошем, очень талантливом и очень пьющем, я им так и не рассказал. И не только потому, что я с ним никогда в жизни, увы, не встречался, а потому что понять, о чем он, этот хороший, талантливый и крепко пьющий писатель пишет, американский, и вообще западный, читатель не сможет никогда. Никогда! Я говорю о Веничке Ерофееве, авторе одной только книги «Москва-Петушки», возможно, одной из самых глубоких и трагических книг современности. О! Как юмор бывает и глубок, и трагичен!)

И все это, оказывается, им интересно, моим двадцати-двадцатидвухлетним ребятам, у которых отцы богачи, а у других — нет. Но глядя на них никак не поймешь, кто чей отпрыск — одинаковые. И разные! Натан Лонген, из Миннесоты (детство — Африка, отрочество — Новая Зеландия, затем год в Ленинграде, а сейчас опять Новая Зеландия, везет за чем-то туда бабушку), Джон Рунд, пишущий доклад «НЭП и советская литература», седьмой в своей семье (папа пережил Пирл-Харбор, воевал на Тихом океане, в Корее, тридцать лет в армии), а Натаниель Харроу —

биржевый маклер из Флориды, я до сих пор о них только в книжках читал. Альберти Гонзалес, испанец, приехал сюда из Мадрида, одно время работал в Москве, в посольстве, расположившемся в ампирном, с колоннами, доме Кропоткина в двух шагах от Института Сербского. А эта маленькая черноволосая девочка — китаянка из Камбоджи, родителей ее убили в джунглях. Оказывается, только что прочитала мою «Киру Георгиевну»... По-русски? По-русски! И все поняла! Где непонятно — есть русско-китайский словарь. А как тебя зовут? И ответила мне с веселенькими косенькими глазами девочка — зовут меня Кира...

Господи, как все это интересно. И ругаю себя только, что мало их знаю. Не только этих, вообще американцев. Язык, язык! Да и не та уж бойкость, что в двадцать-тридцать лет. И организованность меньше, чем хотелось бы. А в общем, не объять, конечно, необъятного. Единственное оправдание. Но стремиться к этому надо. Потом кусать будешь локти. Как делаю это я, в прошлом архитектор, не выдавший ни Суздаля, ни Владимира, ни Пскова, ни Новгорода — всегда успею! А вот и не успел. И до Михайловского, подумать только, до Михайловского не добрел, не дотянулся...

Ловить надо! Не прозевать, ловить!

Ни дня без строчки! Ой ли... Бесстрочечный день отнюдь не измена долгу. Ох, каким обилием можно его заполнить! И книгами, и людьми. О нет, это вовсе не отдых, не отказ от главного. Ведь даже отдыхая в «Робертс-холле», здешнем студенческом клубе и глядя на развлекающихся Джонсов, Брайанов и миловидных Дженнифер, ты все время думаешь — о, Господи, ну почему наши Вовки и Светки этого лишены -- воли, свободы, раскованности? Все это надо видеть, знать, хватать, ловить на лету! Пока есть силы, пока не пропало желание. А пропадет, это уже начало конца...

* * *

Неожиданный вышел финал. С нравоучениями, поучениями, столь не свойственными, казалось бы, мне. Вот куда завела меня, не ведая того, Виктория...

И опять параллели. Как не похожи эти два автора, один, придумавший Викторию, другой — Матрону. Но в судьбах в чем-то схожи. Обоих отвергли за предательство. Одного народ, другого власти. Одного судили за действительную измену, другого наказали дважды — сначала за доверчивость (не прочтут, мол, цензурные девочки крамольного письма другу), потом за правду. И стал он «литературным власовцем», изгнанником. Не только из страны, из всех учебников, энциклопедий изгнали. Не было такого — и все!

Солнце зашло. Мы оседлали своего «Форда», он же «Бамбл-би» — «Шмель», на радиаторе крохотное изображение этого воспетого русским композитором насекомого, и поехали восвояси.

Проезжая мимо речки, она тут же вьется, Блэкривер — Черная речка (ассоциации, ассоциации!) — мы остановились, омыли ноги, посидели на камнях, и один из них, поменьше, поблескивающий какой-то слюдой, я взял себе на память. Сейчас здесь, в Вермонте, он лежит на столе, служит мне пресс-папье, а в Париже положу рядом с гамсуновским, на книжную полку...

* * *

Не успел я дописать последних строк, как зазвонил телефон. Кому я нужен? Хуже нет телефонного звонка во время работы. Звонили, оказывается, мои ленинградцы. Не поехать ли нам в следующий уикэнд в Нью-Хемпшир, соседний штат, там изумительные озера. Если удастся, вырвемся... Хорошо?

Нет, не всегда телефонные звонки мешают...

СОДЕРЖАНИЕ

По обе стороны стены	5
Мраморная крошка	133
Девятое мая	143
М а м а	164
Виктория	178

ISBN 0 911971 03 3

